

Михаил ПОПОВ
г. Архангельск

ПЕРФОРМАНС

повесть.

— Фру Ульсен!
— Госпожа Ула!

Подопечные окликали со всех сторон. Каждому хотелось её внимания. И только старик помалкивал, ожидая — иногда, впрочем, и нетерпеливо, — когда наставница сама подойдёт к нему. При этом если большинство студийцев ждало от неё похвалы или хотя бы одобрения, то старик требовал честного, нелицеприятного разбора и даже жёсткой критики.

Ула ставила студийцам рисунок. Не всем подопечным это давалось и было вообще дано. Но у старика на исходе жизни открылись способности.

«Похоже?» — бывало, спрашивал он о портрете, окидывая ближних к своему мольберту соседей — тут были пакистанец Зуфар, марокканка Камилла, чилиец Пако. «О'кей!» — кивали обыкновенно те либо показывали большой палец: похоже, похоже. А на кого — разумелось само собой: конечно, на их обаятельную наставницу.

На мольберте старика менялись листы, но почти не менялись сюжеты. А если Ула давала свободную тему, его работа непременно сводилась к пейзажу: озеро, луг, лошадь на просторе, стая уток над речкой, сельский дом, скамейка возле пруда... И в каждой, почти в каждой картинке помещалась женская фигурка с закинутой на грудь русой косой, а то и широкое ласковое лицо.

Старик так и говорил, что посещает студию исключительно из-за неё: не было бы Улы — он едва ли ходил в арт-хаус. Да и Ула признавалась, что привязалась к нему. Когда он запаздывал, поглядывала в окно, спрашивала, не видел ли кто старика. А если он совсем не появлялся, непременно звонила домой.

Что надо старости? Немного внимания. Выслушать, посочувствовать, коли неможется, посоветовать чего, чаю, например, горячего с лимоном

да мёдом — продуло, видать, — да укрыться по-теплее, да поспать, а там, глядишь, недомоганье и отступит...

И ведь верно. Проходило дня три-четыре, как старик вновь появлялся в студии. Его встречали улыбками и приветствиями. Смущённый вниманием, он проходил в свой угол и вставал к мольберту. Студийное пространство, воздушное и светлое, с его появлением обрело законченный вид, словно перелётный клин вновь обретал жожака. Так это подразумевалось, так воспринималось со стороны.

А что старик? Старик был не настолько дряхл, чтобы тетешкаться лаврами патриарха. Он мягко переводил всеобщее внимание на Улу: это ей слава и благодарность, это она, кудесница, подняла его. А однажды объявил, что голос Улы обладает целебными свойствами и, сопровождаемый ощутимой даже на расстоянии улыбкой, действует самым благотворным образом.

Ула на это, конечно, улыбнулась — кому же не приятны такие комплименты! Догадку о телепатии не исключила, но перевела всё на другое, тем самым приглашая подопечных к разговору: может, когда-нибудь человеческий голос будет обращён в краски и вы, Лион, и вы, Терезия, своими речевыми сигналами, голосовыми модуляциями, артикуляцией станете рисовать живописные полотна; не красками акварельными да масляными, не пастелью или фломастерами, как мы с вами, а словом. А потом — и мыслью, подхватил кто-то из студийцев, кажется, ливанец Зулейя. Да, и мыслью, поддержала Ула и перевела глаза на старика: а как он на это смотрит, как ему эта идея?

В глазах старика не возникло особого оживления. Но не потому, что ему так уж не нравилась сама мысль о превращениях мысли. Нет. Просто она вводила куда-то в будущее, к которому он, старик, в земных пределах уже не имел особого отношения. А главное, она лишила его сокровенного общения.

Старик был убеждён, что из всех студийцев более других имеет право на внимание Улы, особенно после болезни. Это вроде лимита времени, некие отступные за пропущенные дни.

И потому если и не отстаивал напрямую это право, то косвенно давал понять... Переминаясь у своего мольберта, он поводил плечами, словно ему был тесен светлый вельветовый пиджак или

колол шерстяной джемпер, иногда побряхтывал, словно напоминая о недавней простуде, а то и косился назад, открывая крыло седой брови — знак, означающий предел терпения.

По правилам арт-хауса, установленным магистратом, фру Ульсен должна была распределять урочное время поровну между всеми подопечными независимо от возраста, пола и национальности: «Толерантность — превыше всего!» Таким образом, на каждого студийца полагалось примерно десять персональных минут. Это если не считать вводных объяснений. Однако так уж выходило, что старику уделялось всё же больше внимания. Чтобы как-то сгладить это неравенство, Ула намеренно выдерживала паузу, медленнее, чем обычно, поворачивалась и медленнее, чем всегда, направлялась к его мольберту. Казалось, она точно знала, сколько можно испытывать стариковское терпение.

И ещё. Со всеми учениками Ула говорила по-норвежски либо по-английски, а со стариком — только по-русски, потому что они были соотечественниками. Улюшка или Уля, а то и Ульяна Тимофеевна, в особых случаях «дочка» — обращался к ней старик в зависимости от настроения или важности текущего момента. Она коротко окидывала его работу, легко касалась карандашом листа, делая грифельные поправки, а то перехватывала цилиндрок пастели... И говорила. Вернее, слушала и говорила. И он слушал и говорил. Не важно, о чём: о его пейзаже, о красках и кистях, о дожде за окном, о берёзовом листе, который прилепился к стеклу, как мазок кисти сударыни Осени... Главное, по-своему, на родном языке. Ведь именно этого им больше всего и недоставало посреди райской чужбины.

Пётр Григорьевич целыми днями дома один. Дочка возвращается с работы вечером, у неё начинаются хозяйственные хлопоты: покормить детей, обиходить мужа, ей не до отца. Внуки — их двое — по-русски говорят плохо. Не говоря уж о зяте, коренном норвеге, который к тому же долго работал в Америке.

Схожая ситуация и в семье Ульяны. Муж Йон по-русски знает только три слова: «спутник», «водка» да ещё «балабайка». А дети, её, русские, рождённые в России сын и дочка, всё меньше говорят по-русски, не видя в том большой нужды, особенно дочка...

Ульяне достаточно было родной речи. Был бы

собеседник, а предмет разговора не имел особого значения. Главное, чтобы слова не падали в пустоту. В начале своего здешнего бытования, оставаясь днями одна, она пробовала говорить сама с собой. Однако вовремя спохватилась, поймав себя на мысли, что делает что-то запретное и даже небезопасное. И, повинувшись природному инстинкту, такие попытки оставила.

А Петру Григорьевичу в диалоге важен был смысл. Он не то чтобы всё переводил в практическое русло — они с Ульяной беседовали и о природе, и о музыке, и, само собой, о живописи — как без этого в художественной студии! — но между тем старик постоянно давал житейские советы и наставлял её. Особенно его беспокоили Ульянины дети. Собственные внуки, родившиеся в Норвегии, ничем не отличались от здешних сверстников. А будущность детей Ульяны, чисто русских, оказавшихся на чужбине в начале жизни — Лариска в отрочестве, а Серёжка в подростковом возрасте, — его тревожила. Родные корни обрублены, здешние — слабые, примутся ли они в чужой почве. Человек от земли, крестьянский сын, Пётр Григорьевич и рассуждал по-земному.

К разговору русских, точнее говору-диалогу, в студии прислушивались, причём не только ближние по месту. Студия заметно стихала, разговоры если не смолкали, то сводились к шёпоту. И даже оплывшая и весьма неуклюжая мулатка Нэда, которая постоянно роняла кисти и карандаши по причине артроза, и та подбиралась.

При всей прозрачности скандинавских границ русские в норвежской глубинке, маленьком городке — на карте точечка в восклицательном знаке приполярного фьорда — были всё же наперечёт. Застать местных русских за своим разговором было просто негде: в магазинах и муниципальных службах они объяснялись, пусть порой и худо, по-норвежски. Русские рыбаки, сдававшие улов на местной фактории, были малоразговорчивы — им было не до общения. Приезжие из России, главным образом молодые люди на крутых тачках, мало чем отличались от горластых сверстников из Польши, от хамовато-чванливых америкосов. Другое дело эти двое — широколицая, курносая художница с русой косой и седой старик, немного похожий на Санта-Клауса. Их речь, её паузы и взлёты, их мимика и жесты вызывали в студийцах, людях в большинстве своём тоже нездешних, любопытство, а у кого-то, не

исключено, и ностальгические чувства. Ведь иные из них невольно вспоминали русскую классику — Толстого, Достоевского, Чехова, которых читали в колледже или гимназии.

И, конечно, не столько русская реальность всплывала в их воображении — где её, эту Рашу, понять?! — сколько свои полузабытые детские переживания, картины отроческих лет, которые при всех слезах и тревогах сопровождали бегство с родины, всё равно ласкают сердце и душу.

Больше того, у некоторых студийцев тут было не просто любопытство. Иные из них помимо художественной студии посещали ещё и драму, которая располагалась здесь же, в арт-хаусе. На социальные да эмигрантские пособия было, конечно, не разгуляться, но заниматься в бесплатных творческих коллективах право давалось всем. Вот многие и пользовались этим. Театральная труппа ставила Чехова. Как они там играли, Ульяна не видела. Но одна студийка, звали её Эле — полное имя Элефтерия, — подошла как-то во время кофейной паузы и, сверкая чёрными глазами, выразила слова благодарности. Эта гречанка, наследница классического античного театра, играет роль Раневской. Недавно она внимательно прислушивалась к диалогу фру Ульсен и Санты («Наполовину они, стало быть, возвели старика в Деда Морозы») и на очередной репетиции попыталась услышанное воспроизвести, разумеется, не смысл — где там! — а тембр, ритм и тональность речи фру Улы. В итоге Ларсу, режиссёру драмы, так понравилось, что он её, Эле, похвалил и посоветовал и дальше брать эти нечаянные уроки, заключив, что именно в речи, в её напеве и таится загадка русской драмы.

Какой же эпизод, интересно, запомнился гречанке? Ульяна поделилась услышанным со стариком. Путём сопоставлений и переборков они пришли к выводу, что тогда она рассказывала о старшей сестре. Наложившая запрет на воспоминания, да и на всё своё прошлое, Ульяна едва ли не впервые за годы эмиграции приоткрыла краешек детства и чуть-чуть поведала старику о родной душе.

Раиса, большуха, была ей заместо матери. Мать на ферме, садика в деревне нет — кому водиться с младеней? Возились все. Но больше всех песталась с нею Раечка. Ей было уже лет четырнадцать, когда родилась младшая. И как ни вспомнишь — все ранние годочки толь-

ко с ней. Раечка и кашку сварит, и волосёнки приберёт, и чулочки заштопает, и спать повалят — придёт пора. Всё она.

Летом, когда мелела река, детвора, бывало, норовила попасть на кулиги — пески, которые открывались посередке широкого русла. Путь к заветному месту лежал через омут. Раечка усаживала младшую на закорки и подходила к урезу. Омут обрывистый. Шаг-другой — вода уже по пояс, ещё один — уже по грудь. Ещё — пяточки Ульянки уже достают поверхности. Ульянке щекотно, она повизгивает. Ей не видно лица сестры. А Раечка в смятении, ей страшно — вода уже по горло. Шагать вперёд? А вдруг ещё глубже? Поворачивать назад? А ну как яма!

Так она рассказывала Ульяне уже потом, годы спустя, делясь давним страхом. А Уля и не ведала того. Ей было весело, когда они перебирались на кулиги, она не сознавала опасности, сидя на крепких, как тогда казалось, плечах старшей сестрицы.

Возвращаясь мыслями к театру, Ульяна не раз улыбалась: надо же как аукнулось?! Она даже причёску стала менять: то закалывала кольцом на затылке, то воздымала короной. А однажды, остановившись возле старика, сказала вслух:

— Представляете — Раневская! Никогда бы не подумала, — и без перехода к нему: — В таком случае вы, Пётр Григорьевич, не иначе Гаев.

На сей раз её волосы были распущены по плечам и завязаны на спине. Так она подчас «зашторивала» свою «славянскую луноликость», доставшуюся от рязанского папушки.

— Гаев? — старик оторвался от мольберта и коротко на неё взглянул — он не одобрял внешних перемен. — Кто это?

Безучастность в голосе была нарочитой. Ульяна смолчала. Увлечённо работавший акваристом, старик творил небо, которое ласково опускал на родной пейзаж: приземистые избышки, журавль над колодцем, стога сена за околицей...

2

Старик очутился в эмиграции на исходе жизни. Он знал, что в Норвегии у него есть родственники. Это были дети его родного дяди — старшего брата отца, по профессии моряка, который после революции остался в Христиании. В

прежние поры связи с ними не было. Но с переменами в России они, его двоюродники, дали о себе знать. Письма, презенты, потом обоюдные визиты, естественно, сравнение уровней жизни, и незаметно в новом семейном кругу возникла мысль о переезде. Пётр Григорьевич поначалу и думать о том не желал — с какой стати! Но тут случилась беда: заболела жена, обнаружился рак. Решено было везти её на лечение в Норвегию. Стали оформлять визы, а она умерла — сгорела за два месяца. Остались Пётр Григорьевич с дочкой одни. Как жить дальше? Роза вызрела для замужества, все сроки уж, кажется, вышли, а там, у них, намекали родичи, есть перспективы. У старика перспектив не было. Зато у обоих уже имелись выездные документы. И однажды — чего не сделаешь ради любимого, к тому же единственного чада! — он согласился.

«Где были мои глаза? О чём думала эта старая голова?» — теперь постоянно корил он сам себя, вызывая у иных, чаще тоже приезжих, сочувствие, а у других — недоумение.

Однажды художественная студия отправилась на пленэр. Старик сидел на переднем сиденье автобуса рядом с Ульяной. Автобус проезжал мимо кладбища. Пётр Григорьевич надулся, стиснув этюдник:

— Матушка померла в России, батька сгиб в Германии, а меня, видать, затолкают здесь, в эту землю.

Его «крамольные» речи доходили до ближних соседей, а от тех — до родственников, которые сманили старика. Кто-то из них сочувствовал его переживаниям, но большинство родичей, здесь родившихся, и ближние соседи, коренные норвеги, пожимали плечами.

Всё это не могло не беспокоить дочь. Ладно, если кто-то принимает ностальгию старика за старческую причуду, за блажь чудака, сиречь городского сумасшедшего и даже маразматика, хотя и это неприятно. Но ведь большинство-то всё слышит буквально и оценивает адекватно: старику не нравится ухоженный Запад, ему милее бандитская Россия. Это не может не сказаться на репутации их порядочного семейства, а что ещё неприятнее — на престиже семейной фирмы.

«Что! — вскипел старик в ответ на попрек дочери, что он отваживает потенциальных покупателей от супермаркета её мужа. Муж Розы Юхан долгое время жил в Америке, скопил денег и отк-

рыл на родине продажу унитазов. — Из-за меня они откажутся от его говённых горшков?! Под куст начнут бегать? Не смеши меня!»

Так, обходя некоторое неблагозвучие, Роза делалась с Ульяной своими переживаниями. Она специально зазвала в гости соотечественницу, чтобы поговорить с нею об отце. Он очень уважительно отзывается о вас, добавила Роза. А перед этим помянула, что отца вместе с мужем и детьми отправила в их семейную вотчину — рыбацкий дом на берегу дальнего озера.

Роза была немного моложе Ульяны. Лицом не очень привлекательная, явно не в отца, она подкупала энергичностью, расторопностью, какой-то отточенной чёткостью движений и жестов. Оказалось, что в юности она много занималась спортом: плавала, играла в регби, гоняла на коньках. Оттого у неё такие широкие плечи и крепкая мускулатура. Зато теперь она успешно трудится в семейной фирме — в фирме, а не в магазине, подчеркнула она, — выполняя обязанности менеджера по продажам, а заодно, если требуется, и грузчика, благо умеет управляться с автокраном.

Сначала Роза угостила гостью кофе. Попутно показала коллекцию антикварной голландской посуды — это увлечение мужа. Потом поводила по дому, называя иногда стоимость убранства и дорогой отделки, на опытный взгляд художницы — несколько аляповатых. И, наконец, пригласив на второй этаж, провела в отцовскую комнату.

Ульяна при виде обиталища старика почти не удивилась, чего, судя по всему, ожидала дочь. Ведь она пригласила её, чтобы разделить с нею свою озабоченность. Все стены просторной комнаты были увешаны теми самыми пейзажами — акварелями и пастелями, которые он рисовал в студии. Только здесь они чередовались с увеличенными фотографиями, видимо родных мест, и репродукциями с картин русских классиков, главным образом передвижников. Здесь были Шишкин, Поленов, Васнецов, Суриков...

Чуть дальше Ульяна задержалась возле пейзажа Куинджи: чёрная туча — задний план и солнечный луг — передний. Кажется, «После дождя». Где вы, Пётр Григорьевич? Здесь, на солнечной стороне? Или там, во мраке?

А ещё, глядя на оформление комнаты, Ульяна подумала о себе: а могла бы она позволить такое — развесить в своей комнате русские

пейзажи? В принципе-то, конечно, могла: ед-ва ли Йон стал бы возражать против классической живописи, повешенной в своём, а теперь и в их с Серёжкой и Лариской доме. Но для себя заключила, что нет. И после, уже дома, облекла эту мысль в какую-то не то китайскую, не то японскую формулу: бабочка, которая сядет на цветок, не нарушит пейзажа и натюрморта, если они пишутся маслом; но акварель человеческих отношений настолько зыбка, что может поплыть от любого, даже незначительного, прикосновения.

Ульяна так сосредоточенно всматривалась в обитель старика, словно искала ответ на какой-то вопрос, то ли уже поставленный жизнью, то ли ещё предстоящий. Роза же сведённые брови гостью истолковала по-своему:

— Вы меня понимаете... — И без перехода: — Ну вот что ему, кажется, надо! В тепле, в холе, сыт, одет-обут. Заботушек никаких. Живи да радуйся, а он всё назад оглядывается.

В контексте этой оглядки, судя по тону, оказалась и литературная классика. Хотя вторая половина следующей фразы произносилась вроде даже с гордостью, дескать, и мы не лыком шиты.

— Понадобился ему как-то Чехов. Поддай — и всё! А где здесь на русском-то?.. Пришлось заказывать через Интернет — в сети Московской книги. А ведь это расходы!

Концовка фразы вильнула опять не туда. Роза тут же спохватилась, дескать, это, конечно, не главное: лишь бы отцу потрафить. В этом её, дочери, долг. Да и элементарная справедливость того требует. Ведь отец тоже вносит вклад в семейный бюджет.

— Пенсия здешняя — будьте нате! Ровесники его в России и трети того не имеют.

Это был главный аргумент Розы в пользу здешнего житья, и она его подобающим образом обставила, ещё раз посетовав на «капризы» отца. Попутно отметила, что российскую пенсию Пётр Григорьевич перечисляет в детский дом, куда попал после кончины матери, это было сразу после войны. А заодно пожаловалась, что за финансовыми своими делами отец не следит, приходится постоянно напоминать:

— Там дают пособие, здесь — компенсацию, сходи — не проворонь. Нет, пока не ткнёшь, неставишь — не скрянется.

Слово из русского далека вывернулось случай-

но, видать, унаследованное от отца или матери. Скрынется — не скрынется. Может, потому и отложилось в Ульяниной памяти.

3

Просьба Розы поговорить с отцом совпала с мыслями самой Ульяны. Она давно собиралась это сделать. Да всё как-то не находила повода. Вернее, даже не повода — подводки к разговору. Чтобы это было не в лоб, а исподволь, может быть, облечено в какую-то художественную форму. А поводов было куда как достаточно.

Вспомнить хотя бы самое начало — первое время пребывания в новой стране. Она только-только устроилась на службу, став преподавателем рисования, и несказанно радовалась. Радовалась и месту пребывания, и своему новому дому, и всему тому, что с нею и с детьми произошло, она и детям внушала эту радость, хотя они и без внушения это воспринимали. А Пётр Григорьевич — новый знакомец и соотечественник — вместо того чтобы эту радость с нею разделить, вдруг огорошил. Да ещё как!

Из студии им со стариком было по пути. В тот раз к ним присоединился Серёжка — он после гимназии занимался баскетболом. По дороге Ульяна забежала в банк, оставив сына на попечение старика. Конечно, опеки Серёжке уже не требовалось, чай не маленький, да и обвыкся уже на новом месте. Но таково уж материнское сердце: всегда хочется, чтобы за дитём, даже и великовозрастным, был догляд. Вот и на этот раз так получилось. А вернулась и пожалела, что отлучилась.

Ещё издали она увидела, как Пётр Григорьевич жестикулирует. Так он поводил руками, когда рассуждал о чём-то важном. А самым важным, в чём Ульяна уже убедилась, для него была оставленная родина. Вот, видать, и Серёжке он о том твердил, Ульяна не ошиблась — концовка разговора, которую она уловила, не оставляла никаких сомнений.

«Был бы помоложе, — говорил Пётр Григорьевич, — рванул бы к лешему обратно. Хоть пешем, хоть на карачках — домо-о-ой...»

Ульяна сделала вид, что ничего не слышала, но детей наедине со стариком больше не оставляла: а ну как и они заболеют этой явно неизлечимой болезнью под названием «ностальгия».

Впрочем, это больше касалось Сергея. Ему не досталось ни отца, ни деда, вот он и тянулся к Петру Григорьевичу. А Лариска и сама избегала старика после того, как он обругал её.

Тринадцать-четырнадцать лет — подростковый возраст, у них в эту пору всё наперекосяк: не слушаются, грубят, подчас хамят и при этом вечно чего-то требуют. И тут, как убеждает доктор Спок, необходимо терпение и ещё сто раз терпение. Главное, не сорваться, не попасть на встречную волну, перевести разговор на другое, отшутиться, поставить в тупик — мало ли способов нейтрализовать «пубертатную атаку». Ульяна хорошо усвоила уроки доктора Спока. И ещё одно, что помогает утихомирить бурю в стакане воды, — это она уже вывела сама — всё должно происходить без свидетелей. Тут у них с дочкой был негласный уговор. О таких перепалках-перехлёстках не знал даже Серёжка, не говоря уже об Йоне. Боже упаси! Это случалось где-нибудь на улице, в тихом уголке арт-хауса или дома, когда оставались с нею наедине. Но в тот раз Лариска нарушила заведённое правило...

То, что старик, ставший невольным свидетелем «пубертатного взрыва», осадил подростковое хамство, было в принципе справедливо. Заслужила. Но то, какими словами, каким тоном он это сделал, было для Ульяны неприемлемо, а как матери казалось просто чрезмерным. Это ведь не детдом, где он испытал на себе уроки доморощенной педагогики. Здесь Европа, здесь исповедуют толерантность и независимость.

Досада на Петра Григорьевича долго не отпускала Ульяну. Первое время после того она сторонилась старика, избегая даже в студии посторонних разговоров, а он, чувствуя её охлаждение, тогда серьёзно заболел. Вот ведь как обернулась та его резкость и несдержанность.

С тех пор минуло два года. Острота конфликта сгладилась. Однако, вспоминая подчас ту сцену, Ульяна и сейчас передёргивала плечами. Не дай бог испытать то, что осталось, кажется, в далёком прошлом.

Эти мысли невольно приходили на ум, когда Ульяна готовилась к предстоящему разговору. Однако предъявлять тот эпизод, тем паче заводить с него задуманное было, конечно, неразумно. Больше того, Ульяна почувствовала, что личные, какие-то частные доводы при та-

ком разговоре будут неуместны. Пётр Григорьевич сразу поймёт, откуда ветер дует. «Рука Брюсселя» или даже «рука Уолл-стрита» — так он называет то, что внушает ему его практичная и педантичная дочка, настраиваемая американизированным мужем.

Повод возник сам собой. У старика не выходил небесный цвет. Он явно терял зрение, но, не желая признавать этого, искал внешние причины. Сейчас он сетовал на освещение. Ульяна недоумённо поджала губы: здесь, при этих-то широких окнах?! Старик показал глазами на потолочные плафоны: дело в них, мешают они. И вдруг без перехода стал склоняться на все лады современную архитектуру. Дескать, в ней нет души — лишь самодовольство авторов; пыжатыся, изощряются, выпендриваются один перед другим, а о человеке, который окажется в таком здании, совершенно не думают. Тут досталось и архаусу, и его архитектору — этому штукарю, как выразился Пётр Григорьевич.

Старик явно брюзжал, видимо, терзаемый недоумением. В другой раз Ульяна смолчала бы. Зачем усугублять ситуацию?! Может, даже как-то успокоила, отвлекла. Но тут не сдержалась, не смогла. Ведь он посягал на то, что ей было дорого.

Архитектор, который понастроил по всему свету такие дворцы — гнёзда искусств, был, безусловно, гений. Изящная, приподнятая над землёй форма, огромные, во все стены, окна, дарящие массу света, — сказка! Плафоны же эти золотистые — просто чудо! Кажется, они аккумулируют солнечный свет, а в пасмурный день возвращают его. Да что в пасмурный — в полярную ночь они так искусно пятнают изумрудный пол, что кажется, идёшь по солнечным полянам, даром что зима.

А старик упорствовал, не соглашался. По инерции перечит, догадывалась Ульяна: нашло на него, а отступать не привык, вот и спорит. Разговор затягивался. На очередном повороте возник образ болотины. Старик сравнил плафоны с икряной ряской — плодильней для лягушек. Ульяна вскинула брови: немного похоже. Но отозвалась шуткой:

— Знала я одну лягушку, которая подбрала стрелу и из болота в царский терем перекочевала...

— А я другую знал, — с вызовом парировал

старик: — Не то на стреле, не то на хворостине полетела она за тридевять земель киселя хлебать, а потом... о землю шмякнулась.

4

На следующем занятии, уже ближе к концу, Ульяна предложила Петру Григорьевичу индивидуальное задание.

— Посмотрим, как вы воспринимаете полутона, — пояснила она, учитывая сетование старика на недостатки освещения. А для проверки извлекла большой альбом русских передвижников, который приобрела в Осло, куда они всей студией ездили в музей Эдварда Мунка.

Коснувшись закладки — здесь был тот самый пейзаж Куинджи — Ульяна открыла альбом и отошла. Пусть старик сосредоточится, вживётся в репродукцию, печать тут отличная, не чета той, что у него дома, а она тем временем проводит подопечных.

Разговор Ульяна собиралась завести издалека. Полутона — повод, главное — в другом. Но тут важно не сбиться, не потерять нить. Опорой для неё станет эта картина. Всё будет кружиться вокруг пейзажа. А о главном она скажет так: её, Ульяны, нынешняя жизнь, жизнь её детей, жизнь Розы и других здешних русских — это передний план, луг, осиянный солнцем, а прошлое — это задний план, та мучительно-тяжёлая грозовая туча; ну зачем им туда?

Ульяна тщательно выверяла все позиции — и тональность, и последовательность доводов, и акценты, и даже возможные паузы. В разговоре всё важно. Однако, как ни готовилась, как ни настраивала себя, ничего-то у неё не вышло, старик сбил все планы, причём как! — используя её же главный козырь — картину. Смотрите, не будь этого густого мрака, убеждал он, этого грозового фронта — солнечная идиллия на переднем плане так бы радостно не сияла.

Старик говорил поначалу медленно, буднично, как судачат о повседневных вещах, даже с натугой, — видать, нездоровилось. Но постепенно, всё более оживляясь, начал жестиковать, смахивать со лба седые пряди, опрывать усы, ворошить бороду — так, как делал это, когда твердил о самом главном. А ведь это, в сущности, и было сейчас для него самым главным, потому что картина являла образ родины.

— Согласитесь, — убеждал он, не сомневаясь, кажется, что она никуда не денется и согласится, — «После дождя» — это не только сейчас... Это и о прошлом... Без этого прошлого ничего нет и не будет. Оно живёт в каждой травинке. Потому что травинку питают корни, а корни — в почве...

Тут старик коснулся переднего плана, провёл указательным пальцем по заболоченному ручейку и неожиданно заключил: ломкий ручеёк — это образ погасшей молнии; она не исчезла совсем; растаяв в небесном мраке, она будто пала на этот луг; пала, преломилась и осталась в ручейных бликах.

Ульяна молчала. Ей отчего-то было стыдно. Вспомнилась Раневская, образ которой она примеряла на себя... Глаза её отуманились, живо наполнились, и, чтобы они не пролились, она закусила губу и обхватила себя руками, пытаясь сосредоточиться на солнечной луговине. Увы! Всё, что ещё недавно так радовало её: и это сияние трав, и этот ласковый ручеёк, и эта пасущаяся лошадь, и хуторок на холме, так похожий на здешние фермы, — всё это слилось в одно жёлтое невыразительное пятно. А ещё вспомнилась Лариска, которая всё больше отбивалась от рук, а она, мать, ничего не могла с нею поделать.

* * *

Сеанс психотерапии, как потом иронизировала над собой Ульяна, гоня досаду, не задался: Пётр Григорьевич не услышал её. О том, что может быть наоборот, она тогда ещё не думала, вернее, старалась не думать, ведь и Пётр Григорьевич не убедил её.

Спустя неделю Ульяна проходила мимо социального департамента, и тут припомнилось словечко, обронённое Розой. Не скрянулось с одним, так, может, скрянется с другим, шутя переиначила она услышанное и решила похлопотать о пособиях. Ведь её ученики работали в самых разных сферах, в том числе и в социальной.

Тут результат оказался действительно убедительнее, причём сказался вскоре. Роза, с которой они столкнулись в супермаркете, едва не кинулась Ульяне на шею. Проведённая с отцом беседа — а дочка не сомневалась, что такая была, — пошла явно на пользу.

— Папа, — Роза подняла палец, — сходил в соцбихандлинг...

Название учреждения Роза произносила на свой лад. Ульяна улыбнулась, ей вспомнился один знаменитый писатель-эмигрант, который по этому поводу сказал в телепередаче так: «Русские, где бы они ни находились, казённые палаты называют как им заблагорассудится. Даже если прилично изъясняются на языке страны пребывания. Таково свойство менталитета — дистанцирование от властей. Это у нас в крови». При этом печаль в его тоне мешалась с затаённой, не утраченной на чужбине гордостью.

— Так вот в соцбихандлинге, — продолжала Роза, — отцу выделили пособие на одежду и обувь аж в полторы тысячи крон. Представляете?! — Радость она тут же слегка пригасила: — Деньги для нас, конечно, небольшие. Но всё-таки... Опять же кстати. Повезу папу в столицу — ежегодное обследование, а это, сами понимаете, расходы...

Роза поминала ещё про одну льготу, которую посулили старику. Говорила что-то ещё. А Ульяна только улыбалась. Много ли человеку надо, пусть не для счастья, так хотя бы для радости?! Ведь это тоже немало.

5

А своё счастье Ульяна не девальвировала, не понижала до уровня радости. Её счастье было полновесным и полнокровным, каким и должно быть счастье любящей и любимой женщины, у которой есть муж, дети и тёплый дом.

Ощущение счастья сопутствовало Ульяне все здешние годы. Трудности, конечно, бывали и бывают, как без них. Но в сравнении с теми, что она испытала на родине, здешние выглядят пустяками. Ну а взгрустнётся, накатит нечаянная печаль, так управа на неё найдётся. Стоит лишь заварить кофе и — прощай, грусть! — в пику Франсуазе Саган. Чудо не чудо, но аромат изысканного восточного кофе и был для Ульяны тем праздником, который всегда с тобой. Этот аромат, как по волшебству, мгновенно переносил её в осеннее утро того удивительного года, когда она проснулась в раю.

Первое, что она уловила тогда, потянувшись и ещё не разомкнув глаза, был этот чудесный запах. Наверное, аромат кофе, доносившийся в спальню, и был тем незримым колокольчиком,

который разбудил её. Она сладко потянулась и, как писалось в одном женском романе, прочитанном в качестве инструктажа по дороге в рай, «ощутила каждой жилочкой трепет бытия». Потом донеслась тихая музыка. Труба Эллингтона выводила пряный «Караван». В утреннем сумраке, напоминающем мираж, возник Аладдин. Как и подобает Аладдину, создателю райских куш, он был облачён в долгополый бухарский халат, голову его венчала чалма, на ней гнезился серебряный поднос, а на подносе стоял изящный, источающий аромат кофейник.

В те минуты, честно признавалась себе Ульяна, она забыла даже о детях. Да, о своих собственных детях, которые остались в России, где тянулась бесконечная смута, шли стычки, завивалась голодуха, она в те минуты не вспоминала, до того была поглощена новыми ощущениями и впечатлениями. А картина, возникшая на рассвете — знойный «Караван», Аладдин, аромат кофе, — стала для неё знаком счастья, её путеводным талисманом. Она сопровождала Ульяну все её чужестранные годы, и стоило чуть грустить, подумать о чём-то далёком, но утраченном, она тотчас выводила на дисплей своего воображения эту картину, и перед нею всё меркло, уходило, как с монитора, в состояние сна, почти небытия. А оставалось только это: восточный рай на широте Полярного круга и она вдвоём с Йоном.

Она и он, Ула и Йон. Это она так тогда рифмовала. А потом зеркально перевела его имя: Ной. Библейский Ной по воле Божьей был спасателем. Спасая от грехов сам и спас праведностью свой род. Йон тоже был спасателем — потомок викингов-мореходов, прямой и сильный, он служил в морской спасательной инспекции. Фантазия забурлила. Первое, что пришло в голову, само собой, — ковчег. Своё гнездо они так и назвали. А потом придумали и дальнейшее. Когда потоп схлынул, все пары чистых и нечистых покинули пристанище и расселились по суше. А Ной остался в ковчеге, сделав его домом. Но не один, а с женой. Ведь, по Библии, она была правда непоименованная. И тогда уже Йон прибег к зеркалу, назвав жену Ноя Алу.

Две недели счастья определили всю дальнейшую жизнь. Потом Ульяна съездила за детьми. Серёжке было тогда тринадцать, Лариске девять. Дети способные, неизбалованные, они без осо-

бых усилий прошли подготовительный языковой период, живо освоили норвежский язык, через год вышли по всем школьным предметам в лидеры, и, больше того, их даже ставили в пример местным детям.

Нет, Пётр Григорьевич, твердила про себя Ульяна, я теперь на лугу, на солнечной стороне, а в тот мрак мне не надо, ни к чему, и не напоминайте лучше...

Наивная Ульяна! Прошное ведь не снаружи. Его не сбросишь с рук, от него не убежишь. Оно внутри тебя. До поры о нём не вспоминаешь, как не замечаешь в молодости собственного сердца. Но придёт час — сердце вспучится донным пузырьём и, возносясь под горло, напрочь разобьёт гладь твоей безмятежной жизни, которую охватит долгая и мучительная дрожь. Так случилось и с нею.

Вспомнилось однажды Ульяне, как она рожала и как родила дочку. Оно, конечно, и так никогда не забывалось, стоило коснуться рубцов от кесарева сечения. Но столь остро, так болезненно, возвращая прошлое со всеми потрохами, прежде не вспоминалось. Никакой аромат кофе, сколько ни пила, не смог выветрить ту память. Не гас тот дисплей, как ни давила она на невидимые клавиши. Казалось бы зачем? Ведь вспоминалось-то не абы что, а как дитя родилось, пусть и в мучениях. Вспоминай да утешайся, вновь переживая то мгновение, когда увидела сморщенное личико новорождённой. И удивление, и облегчение, и недоверие, и гордость... — чего там только нет, что сливается в одно слово «счастье». Так-то оно так. Да только счастья того было с гулькин нос. Вслед за умиротворением, что всё обошлось и ребёнок — слава богу! — родился здоровым, без видимых изъянов, навалилась прорва забот. Это может понять, кто испытал такое: мать-одиночка с двумя малыми детьми, и рядом никакой бабки-бабарихи, золовки или свекрухи, одна-одинёшенька.

То время голосило воем волчицы. Чтобы не потерять молоко, надо было соблюдать режим и правильно питаться. А на какие шиши? В художественной школе, где преподавала, декретных выдавали крохи. Не успела отлежаться, «зализать раны», пришлось искать приработок. Вечерами мыла в конторах и учреждениях полы. С дочкой на руках, с сынком за ручку и — по двум-трём адресам за вечер. Руки сбитые, в занозах, от воды

распухали, кожа шелушилась и трескалась. Подчас было невоготу, подступало отчаянье, закипали горячие слёзы. Но чтобы — упаси боже! — не потерять молоко, колола себя иголками, не ведая, что оно могло пропасть и от этих отчаянных уколов... Потом у дочки обнаружили признаки рахита. Тряслась над ней день и ночь. Где бы соку свежего, фруктов, где бы питания нужного раздобыть... Всё — на неё, с себя последнее продала. Зимой в демисезонном пальтишке бегала, ещё студенческом, да в ботиночках на рыбьем меху. Само собой, простыла. А лечиться когда? Всё на ногах. В двадцать пять уже сердце почувствовала... А к этим её двадцати пяти в державе началась полная смута. Пошли сокращения, перебои с зарплатой, и без того крохотной. А самое жуткое — исчезли продукты. Пустые полки продмагов заставили торговыми венниками, топорищами, алюминиевыми сковородами и пачками хмели-сунели. («Хмели-Емели власть не имели и поимели хмели-сунели», — скалился вечно поддатый сосед.) Народ перевели на талоны. Но с этими талонами надо караулить у прилавка сутки напролёт, иначе всё расхватают, а ты придёшь к шапочному разбору. А пуста кошёлка — вари суп из топора, согласно традиции русских народных сказок, и заправляй его теми самыми мясными талонами, что нашлёпала-напечатала бездарная власть... Ульяну иногда выручали заказы от кооператоров. Там вымпел предложат нарисовать, в другом месте — трафарет для футболок. А ещё сумки из мешковины штамповала, шлёпая на них ковбоев да девиц с непременным «Made in...». А ещё книжки детективные оформляла. Много чего делала по мелочи, чтобы наскрести на какое-никакое питание. Но потом и того не стало. Ни заказов, ни денег, ни продуктов. Бартер пошёл, слово такое в обиходе появилось. То банками с неведомой снедью расплачивались, то пачку детективов совали: бери — продавай. А бывало, и собственную кровь — сколько там её оставалось — в товар обращала... Лариска в ту пору чем-то отравилась, не то в яслях, не то дома — поди разбери, где и что тебе подсунут. Её без конца рвало, пожелтела вся, усохла. Для спасения требовалось дорогое лекарство. Что оставалось делать? Отдала последнюю свою ценность — обручальное кольцо — единственную память об отце Серёжки. Даже фотографии от Игоря не осталось, только это кольцо.

Отчего же нежданно-непрощено навалились на Ульяну эти воспоминания, хоть и гнала их что было силы? Да оттого, что случилось непоправимое, а виной всему стала Лариска, её дочка, так трудно ей, матери, доставшаяся.

* * *

На годовщину отплытия Ковчега — так они с Йоном называли их встречу и первую, по сути венчальную, ночь, — в доме устраивалось семейное торжество. Заранее согласовывались подарки, припасались лакомства, накануне готовилась утка или индейка, а в утрах того дня Ульяна пекла кулебяки, начиняя их палтусом, или творожники из муки грубого помола, какие помнились по деревенскому детству.

Всё предполагалось как всегда. Неизменность сценария подчёркивала незыблемость семейных традиций, что для Ульяны было важно. Детали и вариации лишь подчёркивали эту нерушимость. Единственно, чем принципиально отличалась нынешняя годовщина, так отсутствием сына. Серёжка учился в университете, путь от Осло неблизкий, к тому же у него начинались зачёты, и она сама его отговорила. Зато вместо себя сын послал видеопоздравление, и она планировала включить кассету посреди застолья, тем самым введя его в семейный круг.

За неделю до события Ульяна договорилась, что занятия в студии начнутся на два часа раньше. Поэтому освободилась в тот день досрочно. Подарки мужу и дочери были приготовлены: Йону — запонки в виде серебряных подковок и брелок с золотистым морским узлом, а Лариске — две кассеты с популярными группами. Что осталось по пути — так заглянуть в булочную и купить свежего хлеба.

Домой Ульяна летела, как она сама себя подзадоривала, на крыльях: душа её пела и по-девчоночьи подпрыгивала. Небо над фьордом пылало: алый меч заката рассекал серебристое, как лосось, облако. Картина открывалась величественная, напоминавшая полотно Куинджи, и одновременно зловещая. Но она не изменила настроения Ульяны. И льдинка, на которой она поскользнулась и чуть не упала, вызвала не досаду, а, напротив, задор: Ульяна подцепила её носком сапожка и мастерски направила в воображаемые ворота Холмквиста.

К своему дому Ульяна подошла слегка запыхавшись. Что-то замедлило её шаг. Обычно свет горел во всех окнах первого этажа — и в гостиной, и на кухне. А тут светился только наружный фонарь да чуть мерцало окно Ларискиной спальни. Входная дверь была открыта. Ульяна вошла внутрь, хотела было окликнуть, спросить, кто есть дома. Но услышала музыку. Сердце её тревожно забилось: это был «Караван». Не включая света, Ульяна поднялась на второй этаж. Музыка доносилась из Ларкиной спальни. Музыка и ещё голоса. Она толкнула дверь и... обомлела.

6

К Йону у неё вопросов не было. Он стал жертвой. Опоила, даже, кажется, чем-то уколола — так он твердил, тряся головой и умоляя простить его, поверить ему. Это было наутро. Ульяна кивала: так оно, видимо, и происходило. Йон лукавить не умел. Он был простой и бесхитростный, этот потомок викингов. Но для дальнейшего это уже не имело особого значения. Дисплей с зелёным apple — яблоком райского сада — разом померк, унеся в неги и «Караван», и Аладдина, и всё то, что столько лет согревало её сердце. Сердце Ульяны сжало остудой, на неё навалились оцепенение и тоска. Всё, что требовалось от неё — и по дому, и в студии, — она делала машинально. Зато вместе с тем как-то иначе заработало её сознание. До того она позволяла себе думать от сих до сих, обозначив некий сектор в жизненном круге: вот это моё, а остальное меня не касается. А теперь её мысли, освобождённые от запрета, ринулись во все стороны.

Вспомнилось начало, когда, переиначивая судьбу, она, Ульяна, перевезла в Норвегию своих русских детей. Какой тогда была Лариска? Да малой пичугой, не иначе — встопорщенной, выпавшей из гнезда несчастной пичугой. Хотелось прижать её, отогреть, обласкавать, до того была растеряна. Так она, мать, и поступала, не скупясь ни на ласки, ни на подарки, подчас не ведая меры ни в том, ни в другом, тем более что Йон не перечил. Это было какое-то сумасшедшее время — сплошной праздник. Ещё недавно все они — и она, и дети — испытывали нищету, с хлеба на воду пе-

ребивались, и вдруг, как по мановению волшебной палочки, появились и вкусная еда, и нарядная одежда, и тёплый дом, то есть то, что надо для жизни, а главное — всё сразу.

Не тогда ли на языке у Лариски появилось бесплотное словечко — «легкотня». «Легко, легкотня, влёгкую» — это относилось поначалу к учёбе. Ей и впрямь все гимназические предметы давались играючи. Подчас и в учебники не заглядывала, всё схватывая на лету, и шутя переходила из класса в класс. Но, похоже, постепенно это словечко стало синонимом самоуверенности, такого бесшабашно-легковесного отношения вообще к жизни.

Что стало первым звоночком? Стрижка наголо. Лет в двенадцать Лариска постриглась, нарочь отчекрывив свои природные каштановые кудри. «Ёжик в тумане» — так она себя отрекомендовала. Может, тогда тот ёжик впервые чего-то нанюхался, напустив в рассудок «туману»? И не оттого ли стал всё больше топорщиться, словно вместо волос и впрямь стали отрастать иголки. А потом, будто в продолжение того внешнего сходства, ёжик, не иначе эволюционируя, превратился в дикобраза — с чем ещё сравнить тот вздыбленный на голове хайр или ирокез, как там они это называют, да к тому же крашенный в ядовито-зелёный цвет?!

А потом? Разве не замечала она, мать, перемен, которые происходили с её дочерью? Замечала, они просто в глаза лезли: и эта взвинченная походка, и вульгарные жесты, и блуждающая, как теперь уже представлялось, порочная улыбка...

Как, оказывается, прав был Пётр Григорьевич, когда остерегал её! Здешние дети в этой среде выросли, они смала во всё посвящены, всё им дано и доступно, нет ни в чём никаких препятствий — таковы западные установки. А приедем детям и подросткам, особенно нашим, русским, эта вольница крышу сносит. Когда он это сказал? Да после той самой Ларискиной истерики — теперь-то она называла все вещи своими именами, уже не миндальничая и не очурувая себя.

Каково услышать матери, что родители — это первая ступень космического корабля, которая обречена сгореть в плотных слоях атмосферы, чтобы вывести на орбиту спутник, то есть своё чадо! Дурно! Просто мерзко! Да ещё в таком тоне! И всё ради чего? Ради минутного каприза, взбалмошной прихоти. Ей, видите ли, срочно

нужна тысяча крон, чтобы поехать на поп-фестиваль. А учёба? А домашние обязанности? Или всё побоку? Но самое отвратительное в этой сцене было то, что она творилась на людях. Дома, наедине, эту запальчивость можно было пригасить, скажем, отшутиться, пожать плечами, сделать вид, что не поняла, из-за чего этот сырбор... Но ведь та паразитка брякнула это при старике. Эх, как он тогда вспыхнул: «Вот она, распута европейская!» Эх, как повёл сивой бровью: «Укорота нет на тех дерьмократов!» И — к Лариске: «Ты как с матерью разговариваешь, дрычка ты пореформенная! Ты как ведёшь себя, демокруха ты сопливая! А ну извинись!» Та перекосилась, взвизгнула, что-то крикнула, повертев пальцем у виска, и дала дёру.

То была не единственная Ларкина выходка. Теперь-то Ульяне ни к чему стало скрывать, гасить да осаживать свою память. Случалось кое-что и похлеще. И алкоголь был в неумеренных количествах — пьяную домой притаскивали. И травку курила. А потому, как следствие — из дома пропадали вещи и деньги... Много чего уже было в её пятнадцатилетней жизни — всего и не перечислишь. Невинность она потеряла полтора года назад. Ульяна узнала о том от школьного педиатра. Обе матери, они повздыхали, попеняв на время — о времена, о нравы — и, разведя руками, разошлись. Что они могли тут поделать, если подростковая распущенность стала едва ли не нормой!

Месяца три назад Ульяна своими глазами видела, как Ларка лижется с каким-то парнем. Было это среди бела дня неподалёку от арт-хауса. Инициатива исходила явно от неё, её дочери. Больше того, Ульяна заключила, что и место, и время выбраны не случайно: она же знала её, матери, расписание. Что она этим хотела показать? Решила продемонстрировать, что она уже взрослая, что ей никто не указ и что она вправе распоряжаться сама собой и как ей заблагорассудится? Ну, продемонстрировала, показала в очередной раз. А дальше-то что? Ждала реакции? Крика? Гнева? Скандала? Хороша была бы она, мать, если бы поддавалась на провокацию и устроила скандал. И дело не в том, что здесь это не принято: толерантность и ещё раз толерантность. Она всё ещё надеялась на своё терпение — обыкновенное русское терпение, рассчитывая, что всё пере-

мельется, образуется, уляжется, то есть что эта зараза перебесится и образумится... Увы, оказывается, и терпение не всегда приносит результаты, даром что со школы твердили: учение и труд всё перетрут. Не перетёрли...

Первая мысль после шока: в Лолиту захотелось поиграть? И сама же отвергла: нет, тут что-то другое. А что? Ларка два последние года неуклонно гнула своё, она явно ждала взрыва, гнева, скандала... А не дождавшись, пошла на крайность. Не случайно выбрала именно этот день, день Ковчега. Насолить хотела? Да что там — насолить! Так мстят. Только за что? В чём она, мать, провинилась перед своей дочерью? В чём она, дочь, обделена? Чего лишена? Внимания? Ласки? Тут на всех поровну — это справедливо. А всё остальное — как у здешних сверстников, тем паче эмигрантов, а может, в чём-то и поболее. Своя комната, полный шкаф одежды и обуви, компьютер, музыкальный центр... Чего ещё не хватает? Да ежели по справедливости, всё, что она, Ульяна, сделала в жизни, всё сделано ради них, её детей — Сергея и Ларки. И родину она покинула ради них, ради их будущности. Была бы одна — ни за что бы не сделала этого, прожила бы... Ради них бросила... Обрубилa, пыталась обрубить даже свою память. И вот — благодарность, награда за все её терзания и муки...

Ульяна заглядывала в себя, как заглядывают на дно колодца, пытаясь разглядеть не только отражение, но и ещё что-то, что за ним, в самой бездне. Она не щадила себя, перебирая прошлое. Был у неё грех, что там таить. Мелькала мысль об аборте. Мелькала. Но ведь не совершила. Теперь говорят, что такие зарубки остаются на подсознательном уровне ещё нерождённого. Даже если и так, разве она не загладила этот рубец своим неустанным материнским трудом, а по сути, жертвенностью, подчинив свою жизнь детям — Серёжке и ей, Ларке?.. Ну почему? Почему она это сотворила? Почему она, её дочь, пошла против неё, матери? Ульяна снова и снова задавала этот вопрос, неведомо к кому обращаясь. Ответа не было. Кто скажет, почему в здоровом организме заводится раковая клетка? Может, виной всему гены? А в этом случае — дурная кровь, доставшаяся Ларке от отца?

* * *

Будущий отец Ларки появился на её, Улья-
нином, пути, когда она немного оправилась
от горя. Она устала от одиночества, от слёз, ко-
торые таила от маленького Серёжки, от тяжё-
лой, подчас нищенской жизни. Хотелось улы-
баться, хотелось к кому-то прислониться. А тут
— нате вам! — весёлый, разудалый, озорной,
немного похожий на популярного артиста, иг-
равшего мужественных героев. С ходу приоб-
нял: «Пойдёшь за меня, красавица?» Глаза
охальные. По всему видать, крученный-верче-
ный. На предплечье татуировка: орёл, несущий
добычу, а добыча — не то русалка, не то спящая
красавица. Как такому поверишь?! Но ведь
сердце-то — не камень. Вода камень точит, а
бабье сердце — ласка. Открылось оно, как при-
мороженный бутон тюльпана раскрывается от
мягкого ветерка да тёплого сеянца. Открылось
робко, доверилось в надежде. И вроде как не
напрасно. В доме — в общежитской их с Серё-
жей комнате — веселее стало. И Серёжик ручон-
ки тянет к залётному, пытаясь что-то сказать.
До того три года — ни звука. Думала, уж пожиз-
ненно немой. И врачи руками разводили: веро-
ятно, последствия предродового спазма. А тут
вдруг ожил, лопочет, улыбается. И залётный с
ним возится: «Ништяк, малец, выплывем! Всё
будет тип-топ!» «...Оп!» — притаптывает Серё-
жик. «Где наша не пропадала?! Аха?» «Га-ха», —
улыбается сынушка. Забудешь разве такое?!

Где залётный работал и работал ли — она не
знала. Но деньги иногда приносил. А ещё по-
дарки дарил: то кофточку, то сапожки-чулки,
тогда модные были. И Серёже чего-нибудь:
конфет, игрушку или рубашонку... Попивал,
конечно, — как не попить, все пьют. Но не бу-
янил, не озоровал, как другие в общаге. Себя
иногда в подпитии называл «печных дел режис-
сёром». «Как это? — спрашивала она. — Из клас-
сики или из современных?» «Из... — уклончиво
отзывался он. — Есть рассказ один...»

Она потом поняла, о каком рассказе шла
речь. Мужик приходит в село, останавливается
у вдовы, кладёт ей печь, а заодно — проклады-
вает дорожку к её сердцу. Слава о народном
умельце живо разносится по селу. От заказчи-
ков на его умелые руки нет отбоя. Он ставит
или ремонтирует одну печь за другой. А ещё

создаёт на селе театральный коллектив и начи-
нает репетировать — ни много ни мало — «Гам-
лета». Проходит время. Печи поставлены,
спектакль — тоже, премьера прошла на «ура». И
на заре, завершив назначенные дела, мужик
уходит, навсегда покидая селенье.

Залётный исчез, когда она сказала, что уже
на третьем месяце. «Сложил печурку, — горько
усмехалась Ульяна, — и дёру...» Более она его
не видела и ничего о нём не слыхала. Вещицы,
что он дарил, понятно дело, поизносились.
Память повыветрилась. А что осталось-сбе-
реглось, так одно лишь отчество в Лариски-
ном свидетельстве. Так казалось. А выходит —
и кровь, шалапутная да побродяжная.

7

К кому было нести свою боль, своё внезапно
навалившееся отчаянье? Единственная род-
ная душа — сын. Но Серёжка находился в Осло,
где учился на втором курсе университета. К тому
же едва ли он годился для такого разговора. Это
ведь не кино обсуждать, не проигрыш любимой
команды. И даже не болезнь. Тут совсем потаён-
ное. А на кону — ни много ни мало — судьба
семьи, будущее и её, и Йона, да и Лариски...

Едва ли не впервые за здешнюю жизнь Ульяна
остро почувствовала, что она на чужбине. К кому
здесь с этим прислониться? Кому поплакаться?
Это ведь не Россия, где можно доверить свою пе-
чаль-тоску даже случайному попутчику, и он с
сочувствием выслушает тебя и, может, даже даст
какой совет. Во всяком случае так прежде было.
К батюшке податься православному? Но цер-
ковь русская далеко, туда не наездишься. К
здешнему психологу? Но это непривычно, да и
холодом веет от медицины. Может, к кому из со-
отечественников? Ульяна мысленно перебрала
всех здешних русских. Увы, ни с кем из них у неё
не было особо доверительных отношений, хотя
подчас и болтали подолгу, соскучившись по род-
ной речи. Оставался только Пётр Григорьевич.

Ульяна медлила. Обратиться к старику — зна-
чило выслушать много укоров и упрёков. Ведь
он предвидел, чем может обернуться Лариски-
на вольница, её хамоватость, бесцеремонность,
ранняя распушенность. Ведь он предупреждал
её, Ульяну, коря за материнскую слепоту и за-

шоренность. В конце концов, она решилась: пусть осыпает упрёками, пусть шпыняет, пилит — заслужила, лишь бы открыться, лишь бы выпустить эту боль.

На звонок Ульяны Пётр Григорьевич откликнулся немедленно. Они устроились в укромном уголке полупустого кафе. По смятенному виду Ульяны, а того раньше по голосу старик догадался, что что-то стряслось, и, не дожидаясь ещё объяснений, взял её за руку. Тут она и разрыдалась. Зажимая рот ладонью, давясь слезами, пыталась говорить, но выходило худо. Он не торопил, тихо гладил её руку, терпеливо ждал. Мало-помалу приступ прошёл, плечи, ходившие ходуном, опали, но слёзы всё текли и текли по её измученному, осунувшемуся лицу.

Пётр Григорьевич налил ей воды, подал платок. А после того как Ульяна коротко обсказала всё, старик и заговорил. Говорил тихо и ласково. Тут важен был не столько смысл, сколько тональность, та корневая, родовая — от бабушек и дедушек — русская сердечность, которой напитывались поколения русичей, та жалость да утешность, где твоё сердце, как разверстый сосуд, в который можно сточить слёзы, боль, обиду, пусть он и так всклень переполнен.

Они смотрели друг другу в глаза, как отец и дочь. Оба сироты, но сродные души. У него земные сроки подходили к концу, ей ещё предстояло жить. И он старался мягко и ненавязчиво наставить её, укрепить дух, предостеречь от дальнейших заблуждений и ошибок.

И ещё одно посоветовал Пётр Григорьевич. Всё время твердивший о возвращении на родину, а стало быть, и её подбивавший к тому, он неожиданно открылся как прагматик.

— Пока не разрывай с мужем, не спеши. Может, утрясётся, обомнётся, простишь... А нет... У тебя когда семь лет? Вот! Дождись срока, получи здешнее гражданство — оно не помешает. А потом уж решай...

* * *

Разговор со стариком укрепил Ульяну. Жизнь продолжается. Надо применяться к новым обстоятельствам, а стало быть, действовать.

Первым делом Ульяна спланировала с глаз долой Лариску, нельзя ей было оставаться дома. Уст-

роила в закрытой гимназии в пригороде столицы. Там строгий режим, насыщенная учебная программа — дурью маяться не позволят. А по воскресеньям её будет опекать строгий старший брат, у которого не забалуешь.

Этот шаг Ульяна назвала про себя работой над ошибками. После этого предстояло определиться с Йоном. С того дня, как их Ковчег потерпел крушение, они разговаривали мало. Вернее, Йон-то пытался заговаривать, накрывал стол, заводил Эллингтона, но она его остужала, уходя от разговора, не удостоивая внимания ни его кулинарию, ни музыкальные подводки.

Теперь, когда они остались совсем одни, Ульяна сама попыталась смягчиться. Она старательно вспоминала первую их с Йоном ночь, мурлыкала про себя — пусть немного и натужно — знойный «Караван». А однажды сама накрыла на стол. К приборам она поставила два бокала, а посередине — бутылку красного сухого вина, она открыла для себя замечательное чилийское вино, изысканно терпкое и густое по цвету.

Йон не был красавцем. Худощавый, долгоносый, белобрысый — таких много на здешних факториях, где ещё до недавних пор жили бедно и скудно и не нагуляли породы. Раньше Ульяна не замечала этого, очарованная счастьем, свалившимся на неё, а теперь словно прозрела. Улыбка виноватая, даже жалкая, жидкие усы, глаза белёсые, мелкие — чего она нашла в нём?! Сделав усилие, Ульяна оборвала себя: стыдись! Йон единственный, кто отозвался на крик о помощи, крик твоей души, а с лица воды не пить. Она через силу улыбнулась и предложила налить вина.

Они пили вино, перебрасываясь незначительными фразами, обмениваясь короткими взглядами. Скованность обоюдная не проходила. И всё же так или иначе — по инерции, под воздействием вина, а также умозрительных усилий — они оказались в спальне — там, где давно-давно завязалось их счастье. И опять играла труба, звучал «Караван» и витал запах кофе. Всё, казалось, было, как прежде, как тогда... Но как тогда, увы, не произошло. Блик ли ночника, свет ли далёких фар, что мазнул по потолку, но Ульяна вдруг представила себя стоящей возле дома, тревожно вглядывающейся в окно, где мелькали тени, мучительно всхлипнула, вскочила с постели и выбежала вон.

Всё разладилось. Как Ульяна ни строжила себя, как ни уговаривала — ничего уже не помогало, ей не удавалось пересилить себя. Йон же от этого потерял голову. Он то свирепел, то плакал, то напивался и ломился, то грозился покончить с собой и даже показывал верёвку. Ульяна от этого устала. Однажды на те посулы она сказала, что потому викингов негоже трясти удавкой — они кидались на меч. Тем самым она, похоже, окончательно отрезала обратную дорогу.

8

Для Ульяны началась новая житейская полоса. Похожа она была на дорогу в межсезонье: и грязно, и скользко, и не знаешь, куда ступить, а идти надо. Выручал, как всегда, Пётр Григорьевич.

Старик, бывало, всё тормозил её, выспрашивал о родне, о доме. Даже опыт предлагал, дескать, ты, дочка, что-то рассказываешь, я рисую, а потом сравниваем... Прежде Ульяна не отзывалась на это, она либо пожимала плечами и переводила разговор на другое, либо отшучивалась. С тех пор как началась закордонная жизнь, она положила себе ничего не вспоминать, а уж тем более не рассказывать. Прошлого не вписывалось в здешние реалии, как скромная акварелька не вписывается в золочёную багетную раму. Оно мешало ей в новом обустройстве, и она словно отложила его. Так откладывают в дальний ящик шитьё с вдруг оказавшейся ненужной вещью. Скатала прошлое в рулон со всеми выкройками, мелковыми метками и положила в самый нижний ящик комода, пересыпав не столько для сохранности, сколько по привычке нафталином. И всё...

Однако после того что стряслось, ей понадобилась житейская опора. Куда заполошно кинулась душа? Да в то самое прошлое, упрятанное под спудом. Ведь было же оно у неё. Было безоблачное и счастливое детство, юность, полная надежд и ожиданий. И дом, и большая семья... Всё было. И светёлка под крышей, и письменный столик, и даже шкаф, не столь глубокоуважаемый, как у Раневской, — чего уж там! — но был...

Сама с собой Ульяна вспоминала былое иначе, чем делилась этим со стариком. От себя

она теперь не таилась. Но в разговорах с ним кое-что пропускала. Менялась ли от того вся житейская картина, она не сознавала, однако обнаружила, что утаённое не пропадает бесследно, а, оказывается, тоже заполняется краской. Таково, видимо, свойство родственных душ. Они создают единое силовое поле, в котором проясняется забытое или потаённое, и окрашивают всё тем тёплым, умиротворяющим светом, который оставляет надежду.

Что Ульяне в посиделках с Петром Григорьевичем чаще всего вспоминалось? Деревня, река, улица, заулоч, изба... Из родни — больше сестра Раечка да папушка.

Об отце в селе незлобливо шутили, что он с войны пришёл и как на новое место службы определился, в новую войсковую часть. На войну попал бесхитрым деревенским парёнком, был покладистый да смирный, привык беспрекословно подчиняться отцам-командирам. Так и тут. Очутился по вербовке на Севере, леспромхоз оказался поблизости от села, попался на глаза Пестимее, она его и залучила, став и взводным, и ротным, и самым главным командиром. А Трофим и не возражал. Ему по сердцу пришлись и новый командир, и своё новое положение, будто как раз этого ему и недоставало. Работал в лесу, потом в колхозе. Плодил детушек — Пестимея рожала часто — и набралось их семеро по лавкам. Мужики после подённого упряга, бывало, — в лавку да под угол, за бани — «остыть телом да вскипеть душой», как говаривал шебутной сосед Федя Гаревских, по жене прозванный Манефин. А Трофиму некогда гулеванить. Семья-то растёт, каждый ись просит, а в хлеву скотина мычит да блеет. Вот и вертись мужик! Выпивать, конечно, выпивал, но немного. Да и то всего трижды в году — на Октябрьские, на Новый год да на 9 Мая. В День Победы надевал медали и орден Славы. Как только глаза Трофима отуманивались, Пестимея посудину убирала — «Будет!» А он и не возражал, не стучал по столу, как другие мужики, мол, дай помянуть окопных братьев, что порастерял на фронтовых перепутьях. Он вообще редко перечил. Он не возразил, когда лишили доплаты за ордена, когда отобрали паспорт — колхознику не положено! Тут поговаривали, что оборотистость проявила Пестимея, дабы бесповоротно заколотить мужика. Он не пере-

чил, когда бригадир то и дело наряжал его на самую тяжёлую работу — на скотный двор выгребать навоз или в силосную яму очищать её от прошлогодней гнили... А уж о главенстве в доме и речи не было. Воспитание детишек Трофим передоверил супруге. Все дочки и сыновья были под Пестимеей, она держала их в горсти, как заповедовали ей её родители — исповедники старой веры. Все — и дочки и сыновья — не смели матери прекословить. И только её, Ульянку, самую младшую в семье, матери не сумела подчинить. Тут едва ли не единственный раз за всю жизнь поперёк встал отец. А произошло это потому, что ещё сызмала он заметил у младшей художественные задатки.

С чего это началось? Усадив дочку на колени, Трофим листал «Родную речь». Читал вслух всё, что попадалось. То сказку, то стихи Пушкина, то толстовский рассказ. А затевался этот домашний урок всегда с того, что папушка вглядывался в картинку на обложке. Пейзаж Шишкина «Рожь» напоминал ему детство, родные рязанские места. Всякий раз он оглаживал натруженной рукой хлебное поле, словно стирал дымку памяти и наяву прикасался к отчине. Иной раз уже после чтения он брался за гармонь и что-нибудь тихо напевал, особенно если матери в избе не было: «На муромской дорожке» или «Меж высоких хлебов затерялся...». Глаза его при этом отуманивались, как и на 9 Мая.

Ульянка, конечно, заметила всё это, и ей захотелось как-то порадовать папушку. Думала она, думала и придумала. Когда братья и сёстры убежали в школу, она достала карандаши «Спартак», серенький простой альбом и стала рисовать. Да так увлеклась, что не заметила, как сзади подошла мать. Глянув на занятие дочки, а главное — результат, Пестимея покачала головой и отошла, вымолвив только одно слово: «Эко!» Зато папушка так и просиял, увидев рисунок дочки. Это было вечером, когда он вернулся с работы. Не смея взять лист с рисунком в руки — они были черны от тавота и солидола, — папушка в приливе чувств чмокнул дочку в маковку: «Умница ты моя!» Что и говорить, обладала Ульянка папушкино сердце. Ведь она во весь альбомный лист воспроизвела то, что было изображено на обложке «Родной речи», — пейзаж Шишкина. Причём нарисова-

ла так, что даже старшие братья, никогда не принимавшие её в свои игры — «Мелюзге неча тут делать!» — и те удивлённо и завистливо качали головами: они-то так не умели.

Рисунок тот, потом говорили — репродукция с картины, папушка заправил под стекло в специально сделанную рамку и повесил в простенке рядом с часами-ходиками и отрывным календарём — на самое почётное место. А потом, когда всевозможных рисунков — и карандашных, и уже акварельных — появилось множество, папушка устроил её персональную выставку, развесив те листы на нитки, протянутые вдоль стены. Это было уже тогда, когда она пошла в школу.

Мать художествам её, как она выражалась, поначалу не перечила: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не уросило. Но вскорости переменялась: младшая выбивалась из семейного круговорота, где всё подчинено раз и навсегда заведённому порядку. Братья пилят да колют дрова, носят с реки воду, топят байну. Сёстры запаривают пойло для скота, кормят овечек, курушек, а то шьют-кропают чего-нибудь. А младшая, извольте полюбоваться, кисточкой чирикает.

Не по злобе, конечно, сердчала мать, калила сердце. Такая была порода, такой характер, такая выучка. Старая вера, суровые нравы, пусть и остатного уже замеса, требовали во всём неустанного рачения, беспрекословного послушания. Такие натуры собирались веками, это кремень, обкатанный на порожиистой реке жизни. Такой камень в крепостную стену годится и в брусчатку вечеровой площади. Но в новом житье-бытье такому характеру было ох как непросто.

Матери, привычной к вековечному укладу, были странны художества дочери, которая от хозяйственных семейных дел всё норовит в свой уголок к карандашам да краскам, а со временем не только странны, но и нестерпимы. И, верно, отступилась бы Ульяна от своего дара под таким напором, если бы не папушка. Мягкий, податливый, «из таких верёвки выют», тут папушка не уступал и тоже становился как кремень. А когда два кремня схлестнутся да колотнутся лбами — искры ведь сыплются.

Последний раз такой «фейерверк» случился после окончания школы. Мать рядила, что Ульяна пойдёт на ферму, как сёстры, а потом

буди что — выучится в ближнем совхозе-техникуме и вернётся домой агрономом или зоотехником. Худа ли планида?! — и при должности, и при почёте. А Уля мягко, но неуступчиво заявила, что хочет учиться на художника. Что тут затеялось?! Мать вскипела: вольницы захотелось? И к отцу: это ты, потатчик! Криком занялась да всё пальцем вверх тыкала, ровно боярыня Морозова. Но не божьей карой грозила, а поминала, что сотворил-учудил её благоверный. Ведь Трофим, чтобы оградить занятия дочки от лишних поглядок да попреков, оборудовал под крышей светёлку. Он такие видал в Польше да в Германии, когда воевал. Мансардами называются.

Никак не желала мать, чтобы дочь её единокровная отрывалась от родного дома и зажила поодинке где-то на стороне. У них в роду такого и в заводе не было, на чужую сторону не выдавали, а уж по какой другой надобе и по-давно. Ладно сыновья — их призвали в армию, дело казённое, а там дальше по военной линии пошло-поехало. Но покорливой дочери место возле родителей. Вроде ясней некуда. А Ульяна своё: хочу быть художником. Мать навела справки: живопись преподают в училище, которое находится в областном центре. В областном — не за тридевять земель. Ладно! Но Ульяна, уже знающая, что к чему, и тут возразила. В «кульке» — училище культуры — того образования не дадут. Знающие люди советуют поступать в Ярославль. И другого она не хочет.

После этого начался новый виток семейных баталий. Длилось всё это несколько недель, пока из Ярославля не пришёл вызов. Оценив Ульянины работы, которые она послала по весне на творческий конкурс, училище приглашало её на экзамены.

Мать махнула рукой — быть по-вашему! — и ожгла отца взглядом. Втайне она надеялась, что Ульяна экзамены не сдаст и вернётся восвояси, о чём поделилась с Раечкой. Однако Ульяна успешно выдержала все испытания и вернулась домой, чтобы получить от колхоза справку и собраться на учёбу.

Особых денежных доходов в их семье никогда не водилось. Колхоз платил главным образом натурой: житом, картошкой да молоком. Но на родительском совете было решено, что семья будет ежемесячно переводить студентке

пятнадцать рублей. Деньги невелики, но вкуче со стипендией, ежели с умом жить, хватит. Никто почему-то не сомневался, что Ульяна непременно будет получать стипендию.

Что оставалось делать Ульяне, когда она оказалась за пределами не только родительского крова, но и в другой области? Корпела, зубрила, читала и писала конспекты день и ночь. Не пропускала ни одной лекции, ни одного практического занятия. В результате первую же сессию сдала на «отлично», подтвердив, что не зря получает стипендию. Вкуче с родительскими переводами сумма на прожить была скромная, но достаточная. А на мороженое да киношку отдельно «подбрасывал» папушка. Он часто писал письма и в конверт, аккуратно замаскировав, чтобы не видно было на просвет, вкладывал то трёшку, а то и пятёрку.

9

После второго курса, приехав на каникулы, Ульяна привезла с собой три объёмистые папки. В них были карандашные натюрморты, акварельные пейзажи, линогравюры и эстампы — всё то, что она наработала за два учебных года.

Первым зрителем этого собрания стал, разумеется, папушка. Ульяна волновалась тогда не меньше, чем на экзамене. Да и то: ведь папушка, поверивший в её дар, покуда был для Ульяны самым главным экзаменатором, и она страх как боялась разочаровать его. Бережно развязав заскорюзлыми пальцами тесёмки, папушка неторопливо рассматривал ватманские листы и непременно заглядывал на оборот, где стояли отметки или резолюции педагогов. Взгляд его был сосредоточен, он дотошно разглядывал каждую работу, то отводя её на расстояние вытянутой руки, то опять приближая к глазам. Его восприятие, видимо, не всегда совпадало с оценками преподавателей, и в таком случае он ещё раз вглядывался в пейзаж или натюрморт, чтобы попытаться понять причину расхождения.

Отлегло от сердца Ульяны только тогда, когда пришёл черёд речному пейзажу. Эту работу она выполнила совсем недавно, когда их группа выезжала на пленэр в Углич. Папушка по-

радовало тут всё: и далёкая облачная кисея, и речная гладь, и луг, что расстился перед рекою. Ульяна облегчённо вздохнула — главный экзамен на эту пору был, кажется, сдан, а вспомнив, что там, на этюдах, она думала о доме, об этой минуте, счастливо засмеялась. Папушка поднял на неё взгляд. В глазах его отражалась речная даль, васильковая пестрота луга, и казалось, одно перетекало в другое, становясь его составной частью: он — этого мира, а мир — его.

— Хорошо, — заключил отец, — хорошо, — добавил ещё раз, отмеряя похвалу одному ему ведомой мерой. А потом, словно спохватившись, чуть удивлённо добавил: — А наша-то, кабыть, пошире будет...

Ульяна поняла, о чём речь.

— Так то же верховья Волги, начала. А у нас край Двины. До устья-то много ли?..

— То так, — отозвался папушка, — то так. — При этом взгляд его, похоже, устремился в другую сторону — на стёжки да веретейки детства, которые пересекали тихие ласковые речушки, где воды в середине лета было всего по колено, а широкое рязанское лицо, на котором запечатлелся простор Среднерусской равнины, подёрнулось неизбывной грустью, словно на равнину ту пала облачная тень.

Папушка выспрашивал её о педагогах, об однокурсниках да не переменялись ли соседки по комнате — он ведь знал уже по письмам да прежним разговорам, с кем она делит общежительство. А ещё о столовой опрашивал: как и чем кормят, хватает ли... И всё наставлял: ежели что — срочное, важное — отпиши, а то дай телеграмму, а ещё лучше вызови на переговоры, сельсовет-то — эвон где, в двух шагах.

Кроме своих работ Уля привезла тогда репродукции с картин. Собирала она всё — и отечественных, и зарубежных художников, но захватила с собой только европейцев: вырезки из «Огонька», «Смены», «Юности», наборы открыток, которые покупала, выкраивая из скромного студенческого бюджета.

Где разместить привезённое — она долго не раздумывала: разумеется, в светёлке, что устроил для неё под крышей папушка. А как? — тут надо было приноровиться. Часть репродукций, у которых имелись белые поля, она прикрепила кнопками, а часть, воспользовав-

шись папушкиным методом, развесила на нитках, используя канцелярские скрепки.

Это было день на третий или четвёртый. Доклады о студенческом житье-бытье — степенные для матери, более искренние для папушки — сделаны, новости деревенские от сестриц да бывших одноклассниц услышаны, визиты к семейной родне да по рядовым соседям нанесены. Вот и наступил черёд этой папки, в которой покоились репродукции. Выставка была составной частью её приезда — этого маленького триумфа, её задуманного сопротивления будням, даже и каникулярным. В юности страсть как хочется нескончаемого праздника!

Первым в домашнюю галерею-мансарду она пригласила, само собой, папушку, ведь именно его прежде всего она собиралась порадовать-удивить. Стояли дни летней передышки: пахота да сев закончились, сенокос ещё не наступил, папушка возвращался с работы не запоздно. Вот после ужина Уля и кликнула его с верхотуры.

Остановившись в дверях, папушка окинул взглядом стены, и его белёсые брови изумлённо вскинулись — Ульяна явно достигла желаемого, — а потом губы папушки тронула тихая улыбка, это он, видать, различил скрепки.

Начался осмотр. Папушка медленно пошёл вдоль стены. Он клонил голову то вправо, то влево, то отступая, то приближаясь к листкам, как завзятый ценитель искусства, хотя в музеях, насколько ведала Ульяна, ему бывать не доводилось.

— Это Матисс, — поясняла она, кивая на огненный «Танец».

— Красно, — неопределённо, но как-то значительно кивал папушка.

— Это Сезанн.

— Э как!

— Это Дега.

— Синё-то...

Возле одних репродукций папушка задерживался, чему-то удивляясь, даже возвращался. По другим лишь мимоходом скользил взглядом, явно не принимая.

Европейцы — дальние по времени и более ближние — шли вперемешку. Ульяна только называла имена, она не вдавалась в подробности их судеб, о которых знала из книг и лек-

ций по искусствоведению, тем паче — о манере письма, цветовых пристрастиях и прочих тайнах живописи. Это всё она оставляла на потом. Потом, когда улягутся первые впечатления и возникнет предметный интерес. Как было у неё...

Они шли дальше.

— Это Ван Гог... Это Гоген — полотна, писанные на Таити... А это Дали...

Что случилось дальше, Ульяна не поняла. Папушку вдруг согнуло, скрючило, как от удара в живот, он закашлялся, шея его налилась кровью. Ульяна от испуга даже ойкнула. Он вяло повёл рукой, мол, ничего, успокойся, сейчас пройдёт, и, не переставая надрывно кашлять, поплёлся наружу. Уже в дверях, не оборачиваясь, ещё раз остановил жестом.

Табак. Не иначе табак. Слишком много курит. От всего отвалила его мать, а от этого, как ни бьётся, никак не может. Эта напасть к нему привязалась с детства, точнее, с того лютого года, когда куревом, палёной листвою подавляли голод. Вот и мается.

Ничего, успокаивала себя Ульяна, откашляется — вернётся, чего мешать в таком разе. Вернётся. Ведь и одну стену даже не осмотрел. А вернётся — она непременно покажет ему самую любимую свою работу в этой галерее — «Охотников на снегу». Вон он, Питер Брейгель, рядом с Дали.

Ждала Ульяна, ждала, да не дождалась — папушка не возвращался. Совсем растревожившись, она кинулась вниз.

Папушка сидел на крыльце, опершись локтями о колени, и пытался скрутить сигарку. Пальцы дрожали, простые, привычные движения никак не давались, бумага рвалась, табак золотой струйкой сыпался мимо. Ульяна перехватила его заделёе, скрутила самокрутку, набила её табаком и сама прикурила.

Виновато мотая головой, давась горьким дымом, папушка прокашливался и что-то говорил, а по щекам его текли слёзы. Ульяна слушала, почти ничего не понимая, потому что была сосредоточена на другом — этом внезапном и таком непонятном приступе: не обернётся ли это бедой? Горловые спазмы мешались с кашлем, икотой и дымом. А она, сидя подле, всё гладила его по спине, шептала: «Папушка, папушка...» и не знала, что делать:

кричать, звать на помощь или вот так успокаивать, утишать, слушая, как тяжело бьётся отцово сердце.

— Они долги таки... Шеи-то тянут... Из огожи... Глаза-те как блюдца... А горит округ... Я туда... Отворить нать... А как?.. Снайпер оттель... Чуть нос — он и лупит... Не стерпел — нать спасать... Сунулся — и аха...

Папушка мотнул головой. Рана. Опять засквозила старая рана. Ласково приговаривая, Ульяна переместила ладонь к левому плечу. Ниже ключицы разрывная пуля вошла, а из лопатки, вырвав кусок кости, вышла. Вот она, эта страшная ямина — воронка, из которой едва не высвистнулась отцова, а следовательно, и её, дочери, жизнь. Улина ладонь бережно прикрывала эту разверзшуюся бездну и как раз входила в неё. Вот так бы и оставить её здесь, чтобы затянулась эта ямина, в порыве особенной жалости подумала она. Уля долго гладила искалеченную отцову спину, утишая боль, горькую память, и вкладывала в эти ласковые прикосновения всю свою благодарность, нежность и любовь.

10

Посиделки с Петром Григорьевичем в тот тёмный во всех смыслах период проходили ежедневно. То в студии после занятий, то в кафешке после короткого пленэра или урока в галерее. Да не мельком, не впопыхах, а обстоятельно — по часу, а то и по два. Ульяна догадывалась, что старику тяжело, что он перемогает себя, давая ей возможность пережить смутную пору. Но при этом не отказывалась от его участия, не ведая, насколько ему тяжело. Ведь виду он не подавал.

Слушая Ульяну, Пётр Григорьевич не расставался с блокнотом. То делал портретик, то запечатлевал какой-то возникший в разговоре образ. Погружённый в себя, в свои мысли и недуги, он, казалось, многое пропускал мимо ушей. Однако Ульяна знала, что это не так. Время от времени старик вставлял замечания и даже поправлял её, если речь касалась деталей или предметов, которые он знал и помнил лучше. А ещё, если к месту приходилось, что-нибудь уточнял: например, резьбу наличников

в родительском доме, форму штaketника, какой у печи был дымоход — прямой или с коленами, как была отделана её светёлка и какое у неё было окно — стандартное или полукруглое италийское. Ульяна недоумевала: зачем это? И откуда ей знать, какой дымоход был у русской печи?! Но потом, чуть позже, с тихой радостью начинала вспоминать, как красиво в полукружье окна вписывалось рдяное зимнее солнце. А каким чудесным теплом оболакивала печка, когда после катания на чунках она, девчушка, настывая да продрогшая, забиралась на её каменную спину!

Ульяна уже не удивлялась вопросам Петра Григорьевича. То, что ей вспоминалось, откладывалось в её сердце, отогревая его. А ещё аукалось в блокноте старика. И налличники, и палисад с сиренью. И она, девчурочка на сказочной, расписной печурочке, словно Крошечка-Хаврошечка на коровушке. «Похоже-похоже», — по-детски восклицала Ульяна, подчас забывая, кто тут учитель, а кто ученик. А Петру Григорьевичу только того и надо было.

А в студии старик по-прежнему рисовал пейзажи, мысленно уносясь в родимую сторону: лесные опушки, луга, стога сена, озёрные глазницы, клюквенные болотца, речные дали, лодки у берега, избышки, баньки, пастбища с коровушками, жеребятами-стригунками... Господи, сколько же отрады в песне о родине, и сколько ни пой её — по гроб жизни не перепоёшь! Это радовало Петра Григорьевича и утешало: не надоест летать в родимую сторону. Одно огорчало старика: ему по-прежнему не давалась небесная даль.

— Налличники, палисадники, стога — всё вроде как надо... («Да-да», — соглашалась Ульяна, чтобы не огорчать старика, — у него заметно падало зрение.) А небеса — увь...

Выпустив из внимания Ульяну, он опять повернулся к мольберту. Окинул и так и сяк, отошёл, снова приблизился, задумался, понурился, а потом вдруг вскинул руку.

— Может, там смекну? — это он подумал вслух. Вслух старик теперь думал часто. Думал, что не думает, а вот думалось.

Ульяна не отозвалась, чтобы не мешать ему, но вздохнула. Пётр Григорьевич всё чаще болел. И этот вздох был знаком согласия: ведь и

впрямь, видимо, уже скоро старик узнает глубину неба. Пятна старческие появились не только на руках, но и на лице, а белки глаз подёрнулись мелкой сеткой сосудов. «Укатала горюна чужа сторона», — как он сам говорил.

...Старик скончался в январе. Похоронили его там, где он и предвидел, — на муниципальном кладбище, разлинованном на аккуратные квадраты. Земля на могиле была мёрзлая. Вид этой комковато-стылой земли и всего окружающего настолько не совпадал с пейзажами Петра Григорьевича, что Ульяна разрыдалась.

— Господи, — взмолилась она, придя на могилу на девятый день, — не залучай душу новопреставленного раба Твоего Петра, прежде чем она не погостует в родных пределах. И дай ей не сорок дней, а дозвожь остаться там до осени, чтобы её покачало на весенних ветрах, покружило зноем июля, обдало пряным духом скошенного сена и волглым запахом грибницы...

11

Тот год, начавшийся с кончины старика, покатился кувырком. Впрочем, кувырком всё пошло раньше — с осени, с выходки дочери. Её вероломство, это предательство не только подкосило Ульяну, оно ускорило смерть Петра Григорьевича. Он ведь тоже переживал, видя, как мается она — родственная душа. А много ли надо усталому сердцу, в котором жизни оставалось на воробьиный скок?!

Ещё недавно, казалось бы, крепкая семья разваливалась на глазах. Ульяна места себе не находила, всё валилось из рук — и на работе, и дома. Йон от её охлаждения стал запивать — и то плакал, то грозился. Дальше — больше: у него начались неприятности на службе, случился срыв, прогул, а ведь спасательная служба — та же армия. А главное — Лариска, она не унималась и, по сути, издевалась над ними — и над отчимом, и над нею, матерью. Однажды она выслала Йону по почте своё бельё. С ним была истерика. Он хохотал, брезгливо принимаясь, мял эти прозрачные тряпицы; кричал, что это она, Ульяна, виновата; это она воспитала такую заразу, которая испоганила жизнь и его, и своей матери. Ульяна молча,

глота слёзы, слушала попреки, и крыть ей было нечем.

Да, во всём виновата она. Сделала бы тогда аборт — как советовали — ничего бы этого не было. Не смогла. Грех ведь. Словно то, что понесла от проходимца, пусть и весёлого, грехом не было.

Схватив мобильник, Ульяна вызвала дочь и, напрочь забыв про наставления доктора Спока вкупе с европейской толерантностью, наговорила неведомо чего, пока на счётчике не вышли деньги. Но даже после, не заметив, что говорит в пустоту, продолжала честить «ту заразу» на чём свет стоит, покуда Йон не тронул за плечо и не глянул в безумные глаза. Во взгляде его было и сочувствие, и смятение, и вина — чего только в глазах его не было. И тут бы кинуться ему на шею, да всё простить, да забыться в объятиях друг друга, изживая-сжигая обиду и тоску. Но нет... Не та порода, не та закваска. Тут матушкина кровь, замешанная на староверском кремении. И хоть разжижилась та кровь, заводянекла, да до конца-то не выстыла. Сняла его руку с плеча и молча ушла в свою комнату.

Ульяна решила так: коли дочь — её грех, ей его и отмаливать. И лучше всего быть всё время подле неё, пока она не перебесится, не наберётся ума-разума. Так сказала она Йону, собираясь в дорогу. А о их совместной дальнейшей жизни сказать ничего не смогла — нечего было говорить. В ту пору на руках Ульяны был полноценный норвежский паспорт. Это давало свободу действий. И всё же она не решилась на полный разрыв. С собой взяла самое необходимое, давая понять, что ещё вернётся.

Кончался февраль, было солнечно, снега пятнали праздничные синие тени — предвестники весны. Но душу пронизывала осень. Йон довёз Ульяну до автобусной остановки. Она поправила его выбившийся красно-синий шарфик, молча кивнула и, поднявшись в салон, обернулась. В глазах его стояли слёзы.

12

На жительство Ульяна устроилась в том же столичном пригороде, где находилась Ларкина гимназия. Работу нашла в студии ди-

зайна — она располагалась поблизости от учебного заведения. И квартиру сняла поблизости. Теперь её мир замкнулся в треугольнике. В памяти мелькнул бермудский... Но она сразу отвела эту мысль. Для опаски не виделось никаких оснований. День в закрытой гимназии был расписан по минутам. Педагоги, воспитатели не просто доглядывали за подопечными — они замешивали такую густую рабочую среду, в которой места для безделья и глупостей просто не оставалось. Конечно, порядки тут были не домашние, и даже жёсткие, и наказания существовали... Но, разочаровавшись в докторе Споке, Ульяна заключила, что именно так и надлежит выправлять этот природный выверт, который возник в психике и характере её дочери.

По воскресеньям Ульяна собирала детей у себя. К столу готовила что-нибудь вкусненькое, их любимое: Лариске, например, драники, Серёжке — грибную запеканку. А завершала день непременно презентами: то безделками, сувенирами, а то нужными в их обиходе вещами, даря кашне, перчатки или носки...

За дочерью в гимназию Ульяна отправлялась сама, а обратно, держа Лариску буквально за руку, отводил Серёжка.

Лариска была смиренная и послушная. Прилежно обедала, всегда благодарила: спасибо, спасибо, глаза потупленные, причёсочка — волосок к волоску, прямо-таки пай-девочка. Ульяна, конечно, чуяла, что смирение это деланое: в тихом омуте черти водятся. И всё-таки даже внешние перемены, пусть и преувеличенные материнским ожиданием, грели её настуженное сердце.

Прошла зима, минула весна. Подходил к концу учебный год. Ларка сдавала зачёты, экзамены, была озабоченная, искренне переживала за результаты. Всё это радовало Ульяну. Ей верилось, хотелось верить, что перелом наступил. И, когда в конце мая в гимназии стали создавать группы старшеклассников для поездки в трудовой кемпинг, Ульяна, помешкав, согласилась. Пусть едет. Коллективная работа в юности — это и праздник, и соревновательный задор, и взаимопомощь, и закалка характера... Именно так Ульяне вспоминалась деревенская сенокосная страда. Оводы, жарынь, пот градом, а всё равно хорошо. Ты в ра-

боте, ты на виду, грабли так и мелькают в твоих руках. Не отстать, убрать сено, покуда ведро... А тут — виноградники («the students are invited to harvest fruit»), два месяца солнца, моря и здорового труда. Для Ларки это будет поощрением, знаком доверия и примирения. А порядок там гимназия гарантирует. Помимо педагогов — строгих матрон и воспитателей — бывших военных и полицейских, там, в Бретани, будет целое отделение секьюрити. Тут мышшь без спросу не проскочит. Так думала Ульяна и не сомневалась, что так оно и будет.

И что же...

Недели не прошло, как раздался звонок:

— Фру Ульсен, ваша дочь самовольно покинула территорию кемпинга.

— Что?! — вскрикнула Ульяна. — А вы-то куда смотрели? — И кинула трубку.

В Нант она вылетела первым же самолётом. Да что толку! Дочери и след простыл. Все эти матроны и бывшие сержанты только руками разводили. Розыск результатов не дал: то ли похитили — мало ли охотников, киднеппинг во всём мире... то ли сама... Через пару дней на мобильник Ульяны пришла эсэмэска: «Я на Канарах. Здесь жара. Всё о'кей!» Запрос в полицию Санта-Крус не поспел. Была в одном из отелей, сутками раньше съехала с каким-то молодым человеком. А куда — неизвестно. Ещё через три дня Ларка известила, что она в Америке, посреди США. Ещё через день: «Здесь ранчо. Кругом лошади, бизоны». А следом и вовсе уж несусветное: «В пятницу свадьба».

Ульяна от всего происшедшего потеряла речь, у неё отнялся язык. Она оцепенела и только без конца мотала головой, как от нестерпимой зубной боли.

«Молодой человек...» Какой молодой человек? Где и когда снюхались? Может, алжирец, с которым Ларка в открытую лизалась возле арт-хауса? Такой смазливый и тем неприятный... Он и в театре, и в футболе, и в политике... В театре не видела. Но о прочем, слышала, — левак. И в футболе, и в политике. И там и там играл левого крайнего или крайне левого... Тот ещё артист...

Так думала Ульяна, перебирая версии, пытаясь стыковать возможное и невероятное. Ей всё ещё казалось, что это розыгрыш, такая игра, пусть и злая, или, по крайней мере, блеф.

Ларка где-то недалеко и скоро объявится. Не сегодня — так завтра. Или здесь, в Нанте, или там, в Норвегии.

Что делать, рассудок редко совпадает с телесностью. Нутро сотрясает боль, а рассудок спасительно тешится иллюзиями.

Всё закончилось через день. В пятницу на мобильник Ульяны пошла прямая трансляция: собор, пастор, молодая пара, на нём — чёрная тройка, на ней пенное платье, флёрдоранж. Родственники обычно снимают суетно, импульсивно, а то и трясущимися руками, поминутно меняя ракурсы. Тут чувствовался профессиональный оператор: всё было чётко, подробно, много крупных планов. Но глядя на это — в режиме onlain — действие, Ульяна никак не могла взять в толк, почему это ей показывают. Ей даже казалось, что демонстрируется какое-то кино, где актриса, играющая невесту, похожа на её дочь. Пока, наконец, не дошло, что это не кино, не имитация, а чистая правда. И тогда рассудок Ульяны заволокло туманом...

* * *

В состоянии оцепенения, потерянности Ульяна вернулась в Норвегию. Целыми днями она сидела взаперти, уставившись в одну точку. Поделиться горем ей здесь было не с кем. Сын находился на летней практике в Скандинавских горах. Йон для излиятий не годился — сам был жертвой. А сходных душ здесь, в предместье столицы, она завести не успела. Вот и маялась одна-одинёшенька.

Однажды, чтобы прервать гнетущую тишину, Ульяна включила телевизор. На экране шла прямая передача. Двое собеседников-мужчин и между ними переводчица. Кайя — узнала Ульяна и тотчас позвонила на студию.

13

С Кайей Ульяна познакомилась год назад. В Северной Норвегии проходил семинар с весьма мудрёным названием, где перемешалось всё — литература, история, этнография, социология и ещё бог весть что. Одно из засе-

даний проводилось в их городке. Не потому, разумеется, что здесь сложилась какая-то известная научная школа, а лишь потому, что тут имелся просторный и современный, европейского уровня арт-хаус.

В актовом зале Ульяна находиться не могла — она занималась выставкой своих подопечных, которую накануне, в самый последний момент, ей предложили устроить в ближнем холле. Впрочем, она и не стремилась туда. На таких встречах не возникает жарких дискуссий. Это не студенческая аудитория времён её юности и тем паче не перестроечная митинговщина, где доходило до кулаков. Тут обычно чинно и благообразно или, как стали выражаться с некоторых пор — политкорректно. Так же, как и на здешних студенческих тусовках. Как бывало и у неё в студии, где никто не повысит голоса, где закон — толерантность, и потому исключена критика, а возможно только ласковое поглаживание по шерсти, хотя подчас на мольберте — жалкая мазня.

На сей раз, видимо, что-то сложилось не так. Наступил перерыв. Первой из распахнутых дверей вылетела маленькая хрупкая женщина. Именно вылетела, точно взбешенный воробей. Мельком глядя на развешанные акварели и карандашные рисунки, она пробежала вдоль стены и остановилась возле деревенского пейзажа. Ульяна, заключив, что понадобятся пояснения, подошла ближе. Однако в ответ на учтивую фразу услышала не вопрос, как ожидала, а пространную тираду, которая по тональности напоминала не чирикание озабоченного воробышка, а, скорее, треск скворца, возмущённого тем, что кто-то занял его скворечник.

Оказывается, возмутителем спокойствия стал питерский профессор, доклад которого этой особе досталось переводить. Ульяна насторожилась. Речь шла о декабристах, о «Северной повести» — произведении пусть и плохоньком, теперь забытом, но ведь Паустовского же — перед ним Марлен Дитрих стояла на коленях, о чём свидетельствует фотография. Ульяна озадаченно поджала губы. Экая пигалица! Твоё ли дело оценивать чужие выступления? Ты — толмач, сугубо технический работник, вот и выполняй свои обязанности.

Переводчица, видать, что-то почувствовала,

коротко — снизу вверх — взглянув на Ульяну, но не сбилась, лишь немного пригасила тон да, услышав одну географическую поправку, тут же перешла на русский, который заметно замедлил её речь. Донимало её не то, что докладчик, следуя новым тенденциям в оценке истории, крыл декабристов, а то, что двадцать лет назад — она сама слышала — точно так же крыл самодержавие и империю. Вот что, оказывается, её возмутило больше всего.

Они стояли против деревенского пейзажа Петра Григорьевича. Этот выполненный по памяти сельский вид странным образом свёл их, соединив — по крайней мере в стекле — их взгляды, и притягивал, и не отпускал, побуждая к разговору.

Больше говорила она, эта пигалица, этот растрёпанный воробушек. Мелкие, и впрямь птичьи, черты её лица оживлялись и обретали какую-то особенную значимость, которая запечатлевается на облике любого человека в минуты вдохновения. А тут ведь речь шла о декабристах, точно далёкие отсветы давно утихшей бури касались её лица.

О декабристах она говорила так, как судачат о порядковых соседях или двоюродных братьях, которые маются похмельем — ни больше ни меньше — и попрекая, и одновременно сострадая им. Нанюхались в Париже воспаренный вольницы, и стал им грезиться тот самый призрак, который уже бродил по Европе. И потащили они этот мираж в перемётных сумках да на загорбках сюда — она кивнула на русский вид.

Замечала ли она, что противоречит сама себе, в чём-то повторяя сентенции того самого профессора-конформиста? Скорее всего, нет, ведь она-то не меняла своих взглядов.

За спиной собеседниц доносился говор, звякали чашки и ложечки — вовсю шёл кофейный перерыв. А они почему-то продолжали стоять возле незатейливого русского пейзажа, словно без него невозможно было общение. Потом, правда, перешли к столику, однако пейзаж старика всё равно оставался перед их глазами, и время от времени они поглядывали на него, будто в нём искали подтверждения своим словам и мыслям.

От декабристов разговор перешёл к их жёнам. Ульяну озадачила оценка собеседницы. Подвиг

жён, сказала она, с ментальной точки зрения более весом в сравнении с демаршем самих декабристов. В их действиях была половинчатость, недоговорённость, недоделанность. Вспомнить хотя бы князя Трубецкого. Ведь он так и не вышел на Сенатскую площадь. Диктатор — стало быть, вождь, а выходит, предал либо одумался, раскаялся, смалодушничал... Но... не вышел. А у жён полная бескомпромиссность и абсолютное христианское самопожертвование. Ульяна пожала плечами: даже несмотря на беспорядочную жизнь иных декабристок в Ялотуровске, Чите, на Петровском Заводе? Даже! — одними глазами отозвалась собеседница. Уж не феминистка ли она? — такой вопрос мог возникнуть помимо воли. Нет, словно прочитав эту мысль, покачала головой переводчица: она не из тех, не из «синих чулков», она вдова, муж несколько лет назад погиб...

Вот после этого они и познакомились, «обменявшись верительными грамотами». Оказалось, что в пернатости Ульяна не ошиблась. Правда, воробушек обернулся чайкой — так по-эстонски переводится имя Кайя.

Кайя Пенса, едва ли не последняя в советские поры эстонка, окончившая филфак Ленинградского университета. Она готовилась к переводческой деятельности: ей прочили место в издательстве «Ээсти раамат». Однако с развалом Союза развалилась и книжная индустрия. В государственный пул, как называют правительственных толмачей, она не попала. Место престижное, хлебное — охотников прорва, да все представительные. Где ей, пигалице, было пробиться через бастионы крепких спин и редуты острых локтей! Зато повезло в другом. Знание всех основных скандинавских языков плюс английский и русский сделало её незаменимой на всяких неформальных международных встречах, где собираются писатели, художники, лингвисты, деятели культуры... Тут она нарасхват и мотается из конца в конец Скандинавии, иногда наезжая в Англию, Данию или в Россию.

14

Кайя, одинокая душа, тоже обрадовалась встрече. Объяснять ей, что да как, долго

не понадобилось. Она живо прониклась состоянием Ульяны. Но как помочь?

Пыталась иронизировать, вспоминая обстоятельства знакомства, вернее, концовку первого разговора. Жёнки-декабристки на восток ехали, к мужьям своим. Теперь русские подвижницы рвутся на Запад и в Америку. Зачем? — одними глазами спросила Ульяна. Улучшать породу, отвечала Кайя. Это она так объясняла бегство Лариски. Ульяна даже не хмыкнула — у неё что-то случилось с лицом, оно будто окаменело.

Тогда Кайя подошла с другого боку. В одном научно-популярном журнале она увидела генотипы американцев и от этого вида пришла в ужас. Фотографии мужчин и женщин 50-х годов, наиболее спокойный и относительно благополучный период во всём мире, накладывали одна на другую.

— У нас, по Союзу, — Кайя не то чтобы поперхнулась, а решила уточнить, — вернее, по Северу, в твоих местах, всё ясно и чётко: глаза, нос, губы — единый генотип, и мужской и женский. А в Америке, — она для убедительности вытаращила глаза, — сплошной кошмар, какие-то кикиморы и вурдалаки, глаза на лбу, губы всмятку и у мужиков, и у баб. Жуть, а не генотип! Вот Господь и поручил русским барышням улучшать обезображенную американскую породу.

Тут бы Ульяне улыбнуться, кивнуть, а ответом получилось лишь дрожание губ. Ничего не выходило у Кайи, никак не удавалось вывести Ульяну из уныния. И тогда, немного помешкав, Кайя прибегла к радикальному средству.

— Ничто так не сбивает хандру, как дорога. Охота к перемене мест — верное средство обмануть мерлихлюндию. Ипохондрия обожает домоседов, застой в мозгах и в мышцах — её питательная среда. Поэтому вперёд — куда глаза глядят, а там видно будет!

Куда же увлекла новая подруга Ульяну? Да в Эстонию, на свою родину. Она везде, кажется, чувствовала себя как дома. Но здесь-то, в Таллине, она именно дома была.

Они пересекли Балтику на пароме Viking Line. Вечером были в Стокгольме, а утром очутились в эстонской столице. Тут Кайя повела себя не просто как радушная хозяйка, а как тренер, которому необходимо, чтобы её подопечная досконально выполнила всю намечен-

ную программу. Они облазили Вышгород, весь старый город («Ваня Сталин», включая в речь старые анекдоты, комментировала Кайя), навещали пивные погребки, осматривали музеи и снова бродили по древним улочкам.

— Вот здесь снимали «Озорные повороты», — показывала Кайя. — Вот там «Нечистый из преисподней». Но кто сейчас помнит эти фильмы?!

Они много чего осмотрели, бродя по Таллину. Однако прежде рано поутру, взяв прямо в порту такси, Кайя увлекла подругу на кладбище. Она поминала, что родителей у неё нет, но не поясняла. И вот теперь открылись подробности.

Оказалось, что семьи её родителей — ближние соседи — сразу после освобождения Прибалтики были репрессированы. А осудили крестьян да потомственных рыбаков за то, что сдавали часть выловленной салаки на немецкий склад, то есть, как значилось в приговоре, сотрудничали с оккупационным режимом. Но кто из тех судей-буквоедов объяснил, а каким образом можно было отказаться от такого сотрудничества. Изрезать сети? Не выходить в море? Обречь детей на голодную смерть? И будто неизвестно было, как немцы поступали с послушниками и нарушителями их орднунга. Доводы несчастных судьи не услышали, не удостоили их внимания. А итог обычный: в вагоны — и на восток.

— С одного острова — на другой, — поджала губы Кайя. — С Саарема — на Сахалин, — она выделила первые слоги паузами, словно соединила звенья цепи.

Кайя с Ульяной стояли возле ухоженных могил, увенчанных небольшими надгробными плитами. Кругом было чисто и аккуратно — не чета кладбищенской расхристанности в России — видно, что здешние служители исполняли свои обязанности добросовестно и честно.

Кайя поставила в низкую вазочку алые тюльпаны.

— Они были совсем детьми — по восемь лет, — прошептала Кайя. — Самое страшное, вспоминала мама, — Кайя подавила горловой спазм, — самое страшное, когда их разлучали с родителями...

Ульяна мысленно перевела возраст на своих детей. Когда Серёже было восемь, а Ларке,

стало быть, три, она, мать, в отчаянии наглоталась таблеток... Господи! Какая же она была дура! Что стало бы с ними? Как бы они себя повели? И выжили бы?

О том, что стало с детьми теперь, на ту минуту Ульяна забыла.

Юхан и Марта, тихие и застенчивые, когда их оторвали от отцов-матерей, ухватились за руки, почуяв всем нутром своим, что в этой сцепке их единственное спасение. По сути, они так до конца и не разомкнули рук. И в пересылке, и в детдоме — это была Чита — они держались всегда вместе, точно брат и сестра. Вместе, уже в юности, вернулись и на родину. Родители их сгинули, оставшись на том далёком, похожем на акулу острове. «Акула проглотила их», — сказала Кайя. А наследники выжили, выросли и поженились. Детей у них долго не было — годы неволи и испытаний не прошли даром. Но любовь и нежность всё же взяли своё.

— Как там в русской сказке, — тихо улыбнулась Кайя, — поскребли по сусекам и слепили...

— Крошечку-Хаврошечку, — подхватила Ульяна.

— Крошечку, — кивнула Кайя. — Имя сразу дали. У обеих матери Кайи. Кого же чайками называть, если не рыбацких дочек?! А я, — она вздохнула, — и не рыбачка, и называть мне некого...

Уходя с кладбища, подруги не сговариваясь обернулись. Перед вазой, что стояла между могил, мерцал в плоске огонёк свечи. А тюльпаны, такие прямые и строгие, рассыпались на две стороны, точно надгробья соединились радужкой вольтовой дуги.

А в довершение долгого таллинского дня они побывали и на русском кладбище. Кайя о таком сначала упомянула, а потом, пристально посмотрев на Ульяну, и увлекла, загоревшись показать ей могилу русского поэта Игоря Северянина.

Тут в познаниях Ульяны обнаружился пробел — она этого не скрывала. Большого интереса, по правде говоря, у неё не было: устала, да и мысли горькие не отпускали. Однако имя, для неё дорогое, и родственное по корням и географии псевдоним всё же настроили. А уж Кайя тут расстаралась. Она вызвала по мобильнику

такси, да не абы какое, а раритетное — то ли «порше», то ли «додж», на котором, как гласит легенда, Игорь Северянин подъезжал к гостинице «Золотой Лев» на банкет в честь Ивана Бунина, и было это 7 мая 1938 года, то есть 70 лет назад. Ульяна недоверчиво покачала головой, но спросила о другом: откуда у неё, эстонки, интерес к русскому поэту? Оказалось, что увлечение русистикой и вообще филологией началось у неё с творчества именно Северянина: сперва как протест, возражение против официоза, ведь стихи его не издавались и были полузапрещены в Советском Союзе, а потом эта поэзия стала частью её души.

Могила поэта оказалась неподалёку от входа. Кайя положила к мраморной пирамиде свежие розы, которые купила возле храма, пояснив, что поэт ждал таких от родины, и принялась читать стихи.

Что-то пряное, изысканно-витиеватое слышалось Ульяне в этих звуках. Ландо... гризетка... «в будуаре надушенной, нарумяненной Нелли...». Веяло холодом, жеманством. Это было чуждо Ульяне. Кайя заметила её отзыв и переменяла звукоряд.

— Я вскочила в Стокгольме
на летучую яхту —
На крылатую яхту
из берёзы карельской...

Это про нас с тобой. Верно? А ещё:

Дай рябины мне кисточку,
ненаглядная Эсточка...

Это обо мне. А?! А вот это:

Она слышна — она видна:
В ней всхлипы клюквенной трясины,
В ней хрусты снежной парусины,
В ней тихих крыльев белизна —
Архангельская тишина...

Чуешь, о чьей стороне?

В храме они поставили свечи, а в книжной лавочке близ кладбищенской обители оказался сборник стихов. Открыв наугад синюю книжку, Ульяна прорчала:

И будет вскоре весенний день,
И мы поедem домой в Россию...
Ты шляпку шёлковую надень:
Ты в ней особенно красива...

И будет праздник... большой, большой,
Каких и не было, пожалуй,
С тех пор как создан весь шар земной,
Такой смешной и обветшалый...

И ты прошепчешь: «Мы не во сне?..»
Тебя со смехом ущипну я
И зарыдаю, молясь весне
И землю русскую целую!

В горле запершило. Ульяна захлопнула книжку, помотала головой. Кайя пристально посмотрела на неё, но ничего не сказала, только часто-часто заморгала сама. А потом, немного погодя, поведала, что Северянин случайно оказался в эмиграции. Думал переждать здесь, в Эстонии, и революцию, а потом и Гражданскую войну, да назад, в Россию, пути уже не оказалось. Бедствовал, тосковал по родине, а назад вернуться уже не довелось...

Довелось — не довелось... Об этом Ульяна думала всю дорогу, когда они возвращались назад в Скандинавию. Кайя из каюты не выходила: она плохо себя чувствовала, Ульяна гуляла по палубам одна. Посередке Балтики ей вспомнился рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско». Трюм. Цинковый гроб. В России теперь редко говорят «покойный» — «груз двести». Впервые она услышала этот термин тогда... Господи! Сколько же лет прошло!.. Она всхлипнула, зажала рот, опасливо покосилась. Никого возле не было. Люди либо спали, либо веселились в глубине парома — в барах да на дискотеках. До господина из Сан-Франциско как тогда, так и теперь никому не было никакого дела.

Ульяне представилось, что вот в таком цинковом гробу возвращается на родину, куда в мыслях беспрестанно устремлялся, Пётр Григорьевич. Утешилась бы этим его душа? Наверное. Но и закручинилась бы... Ведь никто, совершенно никто не навещал бы его могилку, даже если схоронили бы в родных местах. Разве что сама душа, да и то до сорокового дня, а если Господь услышал её, Ульяны, стелания, до исхода уходящего лета...

В этот миг сознания коснулась... паутинка. То есть не сознания — виска. Откуда здесь-то? — отозвалось мимолётно. Отозвалось да тут же, кажется, и забылось.

Ульяна подняла взгляд к звёздному небу. Отыскала Полярную. Интересно, узнает ли старик всю глубину небесного цвета?

15

За лето Ульяна мало-помалу пришла в себя, немного поуспокоилась, поостыла, благо какая-то информация от Лариски, пусть и не регулярно, с паузами, поступала. То эсэмэска, то фото, то видео. Вот эпизоды свадебного путешествия: Лонг-Бич — океанский пляж, бунгало в кемпинге для молодожёнов, аквапарк, аттракцион «русские горки»... — всё это в Калифорнии. А здесь уже посерединке Америки — в штате Айова. Это семейное ранчо, уголья которого простираются до горизонта, — снято с высоты частного самолёта; это конюшня, у коновязи — породистая кобыла с жеребёнком; это просёлочная дорога, по сторонам которой кукурузные поля... И везде, в каждом сюжете — Лариска, её дочь. Хоть и странным всё это казалось, нереальным, но фотографии подтверждали: Лариска, её непутёвая дочь, — жена вот этого верзилы-ковбоя, который скалит свои лошадиные зубы.

Слетней производственной практики, которая проходила в Скандинавских горах, вернулся Серёжка. Как всегда, немногословный, строгий, сосредоточенный. На лбу ранняя поперечная складка. Похож на своего отца, но по характеру жёстче, суровой. Не юноша, тем более подросток, какими нередко выглядят его ровесники, а мужчина.

Посадив сына за стол, Ульяна принялась кормить его и меж переменной блюд, не торопясь, поведала о главной семейной новости, стараясь не выдать своей горечи. Удалось ли ей это, так и не поняла. Заметила только, что складка меж густыми бровями сына углубилась. На мобильные фотографии он глянул вскользь. Чуть дольше задержался на портрете свояка-американца, обнимающего морду лошади. «Не отличишь», — сказал как припечатал. А потом выложил свою новость.

Ульяна не сразу поняла, о чём речь. Сперва показалось, что это продолжение предыдущей реплики: шляпа на голове ковбойца давала массу поводов для словесных упражнений. Потом почувствовала какую-то причинно-следственную связь: не вид ли ковбойца с кокардой на шляпе явил эту фразу? И только после, с трудом, наконец дошла суть: Сергей решил бросить университет — это первое и пойти на военную службу — это второе.

В сознании Ульяны от всего этого произошло полнейшее замешательство. С трудом подавив подступившие слёзы, она сосредоточилась на главном, а главным, как ей представлялось, была для него учёба. Позади третий курс, до профессии рукой подать. Тут бесплатное жильё. Тут стипендия, которая выше её зарплаты. Доучись, получи диплом, а там как знаешь... Это ли не доводы в житейском раскладе?! Она ведь знала его упрямство, его своеволие и самолюбие, потому, подавив свои эмоции, старалась убеждать логикой. Увы, на сей раз это не удалось. Прежде он слушал её, сын. Слушал и слышал, что внушала она, мать. Внимал и нередко соглашался или, как ещё совсем недавно, делал поправки в своих планах. А теперь не стал даже объяснять. «Всё! — сказал, будто отрезал. — Я так решил. Так надо! И больше не будем об этом!»

До самого конца Ульяна не верила в предстоящее. Сын проходил медкомиссию, согласовывал отчисление, утрясал финансовые дела. А она не верила. Такого не может быть. Такое не должно случиться. Это никак не умещалось в её сознание и житейские представления. Не верила до конца. Пока не увидела его в военной форме.

Дома говорили: есть такая профессия — Родину защищать. А тут чего? Потом успокаивала себя: дескать, правильно — по стопам деда и отца. А о том, в какой армии служили они и в какой сын, Ульяна старалась не думать. Когда человек в смятении, он во всём находит оправдание.

Служить Сергея направили на самый север Норвегии, к русской границе. В аэропорту, провожая его, Ульяна крепилась, старалась не подкачать, даже, кажется, шутила, но, вернувшись домой, зашла в рыданиях.

Вот так же когда-то она провожала в неизве-

стность Игоря, отца Серёжи. А провожая, залила слезами парадный мундир, который укладывала в его чемодан. Этот мундир Игорёк надевал всего один раз, когда получал лейтенантские погоны. Второй раз облачение планировалось через месяц, когда им предстояло идти в загс. Увы! Планы их житейские нарушил военный приказ: «...командировать лейтенанта Доронина для прохождения дальнейшей службы в распоряжение ограниченного контингента советских войск в Афганистане». И никаких отсрочек!

Да, так это было. Горячий ветер «афганец» тугим арканом выхватил её любимого и унёс неведомо куда. Открытка с дороги, письмо из дальнего афганского гарнизона — и всё. Больше не было ни слуху ни духу. Слушала новости, кидалась к газетным стендам, прощупывая скупые строчки ТАСС, — ничего. Обращалась в военное училище — там выслушивали, но пожимали плечами. Наконец бросилась в военкомат: где искать? куда обращаться? А там — отпор: «Нечего вам тут делать, барышня! Вы кто ему? Что? Кольцо? При чём здесь кольцо?! Штмп есть?.. Нет? Ну, так чего же вы?.. Нечего, нечего!.. Покиньте! Не положено!..»

Ульяна была на восьмом месяце беременности, когда узнала, что в военном госпитале есть палата «афганцев» и там, кажется, лежит сослуживец Игоря. Пробиралась в закрытый госпиталь задворками: с большим животом перелезла через забор, проникла чёрным ходом на второй этаж... В палате, куда попала, лежали «обрубки». Сопровождавшая медсестра — добрая душа — предупреждала, но то, что Уля увидела... Мальчишки, совсем мальчишки. Худые — кожа да кости — без рук, без ног... Только глаза...

Сослуживец Игоря лейтенант Матюшин лежал у окна. В их выпуске Матюшин был правофланговым. А теперь... Простыня, что покрывала его, с половины кровати была пуста. Садись, показал Матюшин воспалёнными глазами на эту пустоту. Сесть туда Ульяна не смогла, но объяснилась иначе, коснувшись живота, дескать, никак, трудно. Матюшин — опять же глазами спросил: от него? Ульяна поджала дрожавшие губы. Он с силой зажмурился, словно задавил в себе что-то, с минуту лежал не шевелясь, потом открыл

глаза, но в лицо её уже не смотрел, глядел в небо. Игорь погиб в первом же бою. Пытался спасти своих бойцов, вытащить горящий броник, но их БМП тоже накрыло. Прямым снарядом. Сразу и всех...

Что было дальше, Ульяна почти не помнила. В тот же день начались схватки. Увезли на «скорой». На другой день, потеряв много крови, она родила. Ребёнок был недоношенный, слабый. Да и сама обессилела. Хорошо ещё, что молоко не пропало. Заставила себя ни о чём не думать — только о чаде. Стиснула зубы, собрала волю и ни о чём более. И с божьей помощью да стараниями больничных повитух выходила сына.

Выписалась Ульяна из роддома через два месяца. Сразу свалилась масса житейских забот, которые осложнялись безденежьем. Одно её утешало в те дни: глазёнки сына. А ещё радовалась, что успела сдать экзамены и защитить диплом. Но в остальном жизнь приходилось начинать с чистого листа.

Первым делом Ульяна собралась съездить домой. Где искать утешения и житейской передышки, как не дома, среди родни? О своём нынешнем положении и о том, что стряслось за минувший год, она никому не сообщала. Даже папушке. А зря. Уж кто-кто, а он-то, родимая душа, понял бы её и, случись нужда, — оборонил бы и от наветов, и от косых взглядов. Утаила, оставила на потом... А утаив, подставилась. И сама подставилась, да, выходит, и младеню-сынка подставила.

На Игоря, видного парня, будущего офицера, заглядывались многие девицы. Она это видела. Но никак не думала, что кто-то из них, обделённых его вниманием, станет мстить. А оно вон как всё обернулось!

Молва, что сорока, летит поперёд тройки. Коварный слух пришёл в деревню по весне. Загуляла, дескать, Улька Артамонова, учёбу бросила, с брюхом ходит. От этой чёрной вести папушка слёг. Лежал пластом три недели. Фельдшерица делала что могла, но, видя, что уколы не помогают, повезла его в областной центр — в госпиталь для ветеранов. Вот каким боком тот навет-то обернулся.

Уля приехала домой через три дня, как увезли папушку. Вот уж действительно беда не ходит одна. Она, Уля, по всему, виновница нес-

часть, явилась не запыхалась как раз на пик семейной недоли. Да в аккурат под горячую руку суровой матери.

Ух, как разгорячилась кондового посла-замеса поморская жёнка! Как накалилось-вскипело сердце старого закала! Встряла дочку на крыльце, руки в боки: «С выб...ком ни на порог! Где подолом мела, туда и ступай!» — И дверью перед носом хлопнула.

Так вот в наших палестинах постоянно деется: то гражданская война, то отечественная, то опять гражданская, пусть и в пределах родного заулка.

Что было делать Уле? К братьям-сёстрам, что женаты были, не пошла, чтобы не подводить их перед матушкой, хотя знала, пусть утайкой, — не отказали бы. Переночевала у Паладьи, порядовой соседки, улив слезами подушку, да наутро поспешила к автобусу, чтобы ехать в областной центр и там уже вместе с сыном мыкать вдвоём да сиротскую долю...

...Выплакалась Ульяна, проведив на военную службу Сергея, и заключила, что это, возможно, судьба. Внук солдата, сын солдата, он — наследник их крови. А голос крови, пусть и безмолвный, говорят, самый упорный.

16

Узнав о переменах, стал чаще звонить Ион. Ульяна с благодарностью принимала его участие, но от возвращения уклонялась. «Но почему? — допытывался он. — Ведь теперь ничего не мешает. Дети в опеке не нуждаются. Ты свободна...» «Да, свободна, — нехотя соглашалась она и вздыхала. — Где волей, где неволей...» Однако для себя заключила, что в обоих случаях всё-таки неволей. А что мешало вернуться, она и сама не могла объяснить. Обида? Горечь предательства? Душевный раздрай? Не переломила, как ни пыталась, ситуацию, не сумела повлиять на дочь, то есть так и не разрешила того, чего ради сорвалась год назад, а если отбросить словесную шелуху — проиграла. Вот, пожалуй, была главная причина. А ещё сдерживало то, что, быть может, в итоге её тщетных усилий возникла неожиданная цепная реакция. Ведь

Сергей бросил учёбу уже после бегства Лариски. Может, готовился раньше, но той самой «последней каплей» стало именно это — побег сестры. Норвежский юноша, находясь на третьем курсе университета, такого бы ни при каких обстоятельствах не выкинул. А в сыне, видать, забубнила его русская кровь и вспыхнул бунт, тот самый «бессмысленный и беспощадный»...

Прощаясь, Ион всякий раз желал ей здоровья, но не так, как это делают сухопутные люди, а особым морским способом. «Держи горизонт!» — напоминал он.

Впервые Ульяна услышала это на борту яхты, которую Ион взял напрокат. В тот первый для их семьи выход в море — не в фиорд, а в открытое море — её укачало. Она лежала пластом на банке в кокпите и молила лишь об одном: быстрее бы всё окончилось, скорее бы ступить на землю. Вот тогда, оставив руль на пятнадцатилетнего капитана — так они потом называли Серёжку, — Ион спустился в каюту, силой заставил её подняться и вытащил наверх — под ветер, под хлёсткие солёные брызги. Стоя на зыбкой палубе, Ульяна мутными глазами озидала окрестности: кругом была вода, одна вода и никакого просвета в свинцовом низком небе. Ион сунул ей в рот кусок круто посоленного хлеба, заставил разжевать, хотя её тошнило и не раз уже вывернуло. «А теперь гляди вперёд, — приказал Ион, — и ищи горизонт. Держи горизонт! — повторил он. — Гляди и не отпускай из глаз горизонта. Это твоя опора!» Голос был жёсткий и уверенный. Она подчинилась. Да и как тут было не подчиниться! Сделав усилие, Ульяна разлепила мутные глаза, отыскала эту самую линию, отделяющую небо от моря и море от неба, и вцепилась в неё взглядом. Ухватившись за ванты и качаясь на пляшущей под ногами палубе, Ульяна до рези в глазах цеплялась за эту тонкую зыбкую нитку. И — чудо не чудо! — но что-то изменилось: стало легче дышать, ушла куда-то брюшная свистопляска, мышечный студень обрёл упругость. Ульяна обернулась, поймала взгляд Иона и благодарно улыбнулась ему, пусть покуда ещё и вымученно.

«Держи горизонт!» — заклинала сама себя Ульяна, стоя на зыбкой житейской палубе. Дети её были далеко — за горизонтом. Но у них с

нею была одна земля, одно небо и, как бы на это ни смотреть, — одна линия горизонта.

Что ещё выручало Ульяну в минуты отчаяния, так это подарок Петра Григорьевича — его скромный незатейливый пейзажик. Она называла его «Домик восходящего солнца», а то «Папушкина обитель» — в зависимости от настроения или времени суток.

Эту работу Пётр Григорьевич начал ещё до того, как перевернулась её жизнь, когда она изредка открывалась ему, рассказывая о детстве или юности, а завершил в самую горестную пору, когда она изливала ему свою душу, вспоминая всё, что с нею было. Вот тогда из набросков, этюдов, эскизов и возник этот пейзаж: дом с коньком, окна передней, крытое крыльцо, тонкую резьбу на котором, как и на наличниках, навёл незабвенный папушка.

Вот тут, на крыльце, папушка тогда сидел. Он был чем-то расстроен, тяжело курил, кашлял, а она, дочка, гладила его плечо, осторожно касаясь ямки от разрывной пули. «Лёгкая у тебя рука, Улюшка, — тихо улыбался папушка. — В госпитале у нас сестричка была... махонькая такая... Вот тоже, коли невмочь, её кличут... Уколы, бывало, не помогали — она выручала...»

Ульяна замечала изъяны в работе Петра Григорьевича, что стояла на комодике. Он был

всё-таки не профессионал. Да и зрение под конец подводило. Зато на полотне сбереглось то, что напоследок затухающим родничком источало его усталое сердце — нежность, печаль, сострадание. Может, потому при взгляде на картину Ульяна всякий раз обретала утешение, пусть слабое, крохотное, но всё-таки утешение. А ещё это полотно всякий раз отворяло её память. Ей являлись картины давно забытого и, казалось, навсегда утраченного, канувшего в небытие. Да ещё как являлись! — полными шелестов, жужжания, посвистов и мычания, овеванные крепким духом черёмухи, зноем житного поля, пряным духом клеверной кошенины.

А лица! Папушкина ласковая, чуть застенчивая или виноватая улыбка. Раечкины ямочки на щеках. Глаза братьев и сестриц. Матушкина вечерняя неторопливость и шелест гребня, расчёсывающего её густые вороны отлива и тронутые сединой волосы.

(Окончание следует)

□

Михаил Константинович ПОПОВ (1947) —

уроженец Русского Севера.

Автор двух десятков книг — прозы, публицистики, литературоведческих работ.

Пишет для взрослых читателей и детей.

Его произведения переведены на основные скандинавские языки, а также на английский.

Лауреат ряда премий: Всероссийской литературной им. Б.В.Шергина (2005), Всероссийской литературной

им. И.А. Гончарова (2007),

Международной премии им. М.А.Шолохова (2008).

Член Союза писателей России.

Главный редактор литературного журнала «Двина» (Архангельск).

В «Севере» печатается с 1990 года.

